

**Анатолий ЗЯБРЕВ**

**МАЛЬЧИШКА  
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ  
(Повесть)**

**Красноярск  
2005**

От издателя

«Великая Отечественная война во мне, она жжёт и выжигает мою грудь и через много лет», – так бы мог сказать сегодня автор книги, повествующей о драматическом выживании подростка в исправительной колонии и в других зонах, а затем о становлении его солдатом, защитником Отечества, в составе особого боевого воинского подразделения, сформированного из освобождённых заключённых. Текст написан с исключительной искренностью, болью, талантливо.

Текст публиковался в журнале «Сибирские огни», 2005 год, №№»2,3.



*А.Е. Зябрев*

## Часть I

### БУНТ

В ту зиму часто загоралось небо над городом, сперва пламенело с севера, потом багрово-малиновые сполохи охватывали западную окраину, мнения ходили разные: одни говорили, что это завезённые военные заводы через свои трубы, поднятые на тросах в облака, сжигают секретные газы, другие же возражали: нет, это Гитлер изобрёл особое оружие, лазерный огнемёт, из Берлина до Сибири эта страсть достаёт. Были и прочие мнения, в том числе и связанные с сатаной: да, да, эта самая нечисть хвостатая устраивает свои игры, а от нечистой силы, понятно, нет иного средства, кроме как ангелы, и люди потому тайно, всяк в своём углу, шептали забытые молитвы, с усилием вспоминая оные. Тяжесть на душах горожан каменела оттого, что эти все ходившие варианты мнений были под официальным запретом, попадали в разряд грозного плаката «Болтун и шептун – находка для шпионов», висевший на уличных перекрёстках.

В последнее время мне снились худые сны. Вот и на этот раз то же самое. Кончилась смена, я складываю кожуха, чтобы предъявить мастеру, а он, мастер Пашенский, худой, с лицом землисто-серым, стоит у верстака, позади меня, с ним рядом дядя Рудольф, мой сменщик, они ведут счёт. «Один, два... сорок девять... восемьдесят семь... сто четырнадцать...» Вот, сколько я сегодня наделал! Целая пирамида получилась. «Молодец!» – хвалит дядя Рудольф, это он научил меня скоростному свариванию кожуха.

Но пирамида, едва не достигнув потолка, вдруг даёт крен, обрушивается на бетонный пол.

Подходит милиционер, по прозвищу Шнырь, надзирающий за порядком в цехе, вглядывается в меня и говорит: «Собирайся, пошли».

Я плачу, говорю, что я сейчас все кожуха соберу, заново сложу в пирамиду, хватаю эти самые кожуха, мастер Пашенский и дядя Рудольф заступаются за меня, Шнырь ещё подозрительнее вглядывается и цепко сжимает мне обе руки в запястьях.

Шла война. Все мальчишки с нашей улицы Кропоткина и с соседних улиц – Войкова, Молокова и Свободы, – кому исполнилось четырнадцать, пошли на эвакуированный в Новосибирск из Воронежа радиотехнический завод, производящий для фронта аппаратуру. У кого родословная чистая, тех распределили по сборочным цехам. Меня же, как сына репрессированного отца, поставили в заготовительный цех сваривать жестяные кожуха на контактном сварочном аппарате.

Сквозь сон слышу страдальческий голос мамы: «Вставай, сынок, за тобой пришли».

Я открыл глаза, однако ещё не совсем проснулся. Возле печки сидит на

табуретке милиционер, это не цеховой Шнырь, а какой-то другой, пожилой. Я повёл взглядом, и очень удивился, не обнаружив рядом ни мастера Пашенского, ни дяди Рудольфа, которые бы за меня заступились. И только тут я понял, что нахожусь не в цехе, а дома, лежу на кровати, в кутнем углу, за печью.

– Собирайся, сынок, – просит мама. – Товарищ милиционер говорит, что сбегашь, побеседуют там с тобой, прибежишь, и ещё поспишь.

– Да... побеседуют, – подтверждает милиционер. – Там быстро. Долго не держат.

– А я тем временем... – успокаивала мама, подавая ботинки на деревянной подошве, на днях выданные в цехе. – А я тем временем горошницу сварю. Давеча в магазине горохом отоваривали.

Я вспомнил, что три дня назад я утащил из заводской столовой алюминиевую миску под рубахой, миска потребовалась, чтобы кормить щенка, живущего при цехе. Неужели дознались?

Милиционер встал, давая понять, что время, отведённое ему на ожидание, а у меня на сборы, вышло. На ремне у него была кобура вовсе не пустая, не как у безобидного Шныря в цехе. Он пропустил меня вперёд, в тёмные настывшие сенцы, забитые разным бытовым хламом. Мелькнула мысль: вот спрятаться бы за бочку.

Во дворе с бельевой верёвки, протянутой от сеней к дощатому туалету, вспорхнула тощая голодная сорока, осыпав на землю сизые хлопья куржака. Воздух над улицей тоже был сизым и тяжёлым, как бы рваным.

Жуткая тоска подкатила к сердцу. Что-то говорило, что я домой долго, долго не вернусь. Судьба даёт о себе знать вперёд.

Мне хотелось, чтобы кто-то из уличных пацанов увидел меня идущим в сопровождении мента. Но морозная улица была пуста, из конца в конец никого, если не считать женщины с коромыслом у водокачки. Впрочем, за водокачкой, у оврага, были ещё какие-то фигуры, но они были далеко и разглядеть меня никак не могли.

На переходе через железнодорожную линию путь оказался перегорожен товарным поездом,двигающимся на небольшой скорости. Вот ухватиться за поручень вагона, вспрыгнуть на подножку и – привет, привет, дядя мильтон.

Однако простучала последняя платформа, гружёная брёвнами, я перешагнул через рельсы и скатился на другую сторону насыпи на своих деревяшках. Мент, задержавшийся на рельсах, был вынужден прокричать мне вслед: «Потише, потише, малец!»

Прокуратура находилась сразу за пустырьём, в бараке. Мент провёл меня по длинному прелому тёмному коридору, набитому народом, втолкнул в одну из дверей. За столом сидела женщина в пальто, наброшенном на плечи, голова её была маленькой, почти кукольной, волосы гладко прилизаны. Она коротко, без всякого интереса, глянула в мою сторону, выслушала милиционера и стала копаться в папках. Выделила тоненькую папочку, развязала тесёмки, извлекла листок.

– Добровольное признание и раскаяние учтём, будешь запираяться – засудим, – сказала она не строго, даже мягко.

Выждав паузу и поизучав реакцию на моём лице, спросила с тем же безразличием:

– С кем водишь компанию?

Я не мог ничего сказать. Потому что дружил я больше со своим старшим братом Васей, он работал в том же цехе, что и я, но месяц назад его зачислили в артиллерийский полк и увезли на Сталинградский фронт. На товарном вагоне, в котором его увозили, было написано суриком: «Отстоим Сталинград! Смерть врагу!».

– Один удумался или с кем? – спросила женщина.

Речь шла, оказывается, не о миске, которую я стащил в столовой, о миске, слава Богу, не узнали. Речь шла о хлебной карточке, которую брат Вася, уходя на фронт, не сдал табельщице, оставил мне.

– А ты почему не передал табельщице, а пошёл в магазин и получил неположенный тебе хлеб? Почему?

– Ись захотел сильно, – честно сказал я.

До меня как-то не доходило понимание степени моей вины: ну, получил хлеб вместо отсутствующего Васи, отбывшего на фронт, ну съел... Чего же тут такого?

– Сталин призывает сберечь каждую хлебную крошку, а ты...

Упоминание Сталина меня окатило холодом.

Женщина принялась быстро-быстро что-то писать, задавая при этом вопросы, не поднимая глаз от бумаги: где родился, кто отец, кто мать, где учился, – потом велела подписаться.

Я подписался, не читая протокола, женщина аккуратно завязала папочку, и, улыбнувшись мне совсем уж дружески, довольная, что так быстро управилась, пригласила милиционера, стоявшего в тамбуре:

– Проводите молодого человека...

Женщина в этот момент показалась мне даже симпатичной и родственному доброй.

– А я и сам добегу, не надо, – обрадовался я, думая о том, что мама успела уже сварить горошницу, какую я очень люблю, если она с луком да с хлопковым маслом (в ту пору – зима 1942 года – кроме хлопкового никакого масла на карточки не давали).

– Нет, сам не добежишь, – женщина ещё улыбнулась, а милиционер разом посуровел, высвободил из брезентовой кобуры пистолет, сказал:

– Мне чтобы без баловства. Шаг влево, шаг вправо – считается побегом, буду стрелять на поражение.

– А куда вы меня? – задрожав в ознобе, спросил я.

– Чего заработал... туда и доставим, – отвечал милиционер, хрипло и болезненно закашлял.

Доставлен я был на окраину города, где на голой возвышенности стояло

мрачное здание, пугавшее горожан.

Мрачность зданию придавали чёрные коробки, навешанные по этажам на ряды окон. Никаких окон, одни коробки вместо окон.

Здание казалось слепым.

За холмом опускалось стылое солнце, с него тягуче стекала на снег загустевшая кровь.

Тюремный комплекс, занимавший всю лобовую часть холма, был отделён от крайней городской улицы, состоящей из мелких частных дворов, широким пустырьём и полосой не крупного берёзового леса. В этих березняках летом я пас тёткину (тётя Матрёна мамина родная сестра) корову, за что получал бутылку молока. Тётя Матрёна наливала молоко в тёмную посуду, чтобы не скисло от солнца, и давала мне с собой на пастьбу.

Мент всю дорогу молчал, держась сзади на положенном расстоянии. Лишь на самом подходе к тюрьме, он, должно, убедившись, что я теперь уже не кинусь на него и не попытаюсь убежать, он поравнялся со мной и шёл рядом, при этом убрал пистолет в кобуру.

В камере я думал о маме. Ни о чём другом думать я был не в силах.

Я только два раза в жизни видел её плачущей: когда арестовали отца и когда старшего моего брата Васю увозили на войну. В первом случае мама бежала до конца деревни за санями, на которых увозили связанного отца. Во втором случае мама никуда не бежала, она опустилась на колени, скрестив молитвенно на груди руки, и так стояла, бледная, охваченная трагическими предчувствиями. Поезд, увозивший Васю, удалился, вагоны пропали за станционными постройками, а мама всё стояла, слёзы стекали по её землистым щекам.

У мамы надорвано сердце. Теперь я боялся представить, как она переживает.

Камера была большая, квадратная. Вдоль правой стены, от самой двери до окна, дощатые нары в три яруса, до потолка. Полуголые люди размещались настолько плотно, что коридорному надзирателю пришлось вталкивать меня силой, и потом также, с усилием, закрывал он дверь.

Когда меня вталкивали, я не устоял и свалился на сидящих у порога, за что, понятно, тут же получил с разных сторон пинки и кулачные тычки.

Смрадный запах прелой плоти вызывал тошноту.

Кое-как угнездившись, я сидел на кукорьках. Только так, на кукорьках, хватило мне места.

Ко мне, перешагивая через головы сидящих и лежащих, подошёл тощий пацан с язвительным синим лицом, обмотанный по голому телу обрывками грязной простыни.

– Куревом располагаешь?

– Не курю.

– За что взяли?

– Не знаю, – соврал я.

– Что-то стырил?

– Я ничего не стырил, – отвечал я.

Тип расхохотался, обращаясь к кому-то на нарах.

– Смотрите, он ничего такого? Смотрите! Не стырил! А пиджачок-то сними. Мне пригодится. И рубашечку тоже. Не жмись, – говорил пацан тоном, не допускающим возражения. Он ухватил меня со спины, подтолкнул, и пиджак сам собой съехал с моих плеч.

Мама мне сшила этот пиджак, перелицевав что-то из отцовской одежды.

Я ударил обидчика снизу. Парень охнул, как бы хотел рыгнуть, согнулся, и так сидел скорченный. Я не ожидал, что удар мой будет столь удачным.

Обитатели верхних нар завизжали:

– Кряху завалили! Кряху!

Они сигналят с высоты, норовя налету угодить ногами в мою голову.

Очнулся я в том полутёмном углу, где стояли две широкие деревянные лохани.

Едва я выбрался из-за лоханей, услышал громкий разговор Кряхи:

– Сейчас этого козла добьём или дадим немного пожить? В параше утопим или так задушим?

– А может, сначала его кипяточком? – подсказал кто-то. – Обварить, чтобы потом общипывать лучше было. Как курицу. Эй, у печки там! Подайте кто кружку с кипяточком.

– Точно. Давай обварим. Гы-гы!

– Не трогали бы вы парня, – вмешался дядька с круглым носом. – Как бы худо вам не было. Забавляетесь не по-человечески.

– Ты, старый козёл, молчи. И с тобой, если надо, сыграем шутку. Жить, что ли, надоело? Сиди и сопи в ноздрю.

– А я вам, ребята, сказываю, не трогали бы, – тем же ровным голосом говорил дядька, сидевший на полу.

Тем временем скрипнул ключ в замке, дверь камеры раскрылась. За порогом стояли два пожилых рослых надзирателя.

– Тут у вас всё в порядке? – они с расстояния оглядывали внутренность камеры.

– В порядке, в порядке! – прокричали угодливо голоса с нар.

Дверь тяжело, с железным скрежетом, захлопнулась. Надзиратели, должно, продолжали следить в дверной глазок. Там, в глазке, светилась бусинка оранжевого света.

– Ты ночью-то, сынок, не спи, – шепнул мне дядька, когда надзиратели ушли. – Как бы... Такое дело. Как бы не случилось чего. В прошлый раз также один парнишка был. Непокорный был. Не покорился. Так ночью-то по горлу бритвой... Тебя как звать-то?

– Анатолием.

– Толя, значит. А меня Степаном зови. У меня племянник Толя. Ты, вижу, не шибко боек, но себя ценишь. Этому задиру врезал... Они тут,

паршивцы, гурьбой берут. Ты, Толя, сдвигайся сюда вот, к стенке, здесь не так парашей воняет. И безопаснее. Через меня перешагивать будут эти стервецы, я услышу. Как-то и заступлюсь. Настороже будем, вместе. Не дадимся вместе-то.

У меня сердце ослабло и слёзы на глаза навернулись от такого участия чужого человека. Я не хотел показывать своего состояния, но дядька распознал. Он неодобрительно насупил брови, надвинул их на самую переносицу, сказав:

– Испытать в жизни всякое надо. Лишь крылья чтобы не опущены были.

Дядька передвигал под своим задом пустую мешковину, пробовал одну ногу вытянуть, однако не смог вытянуть, так как нога упёрлась в бедро сидящего соседа, сосед обиженно заворчал. Повертевшись, дядя Степан подтянул колено к своему подбородку, так ему стало сидеть и дремать удобнее.

Надзиратели кого-то выкликали с порога, кого-то уводили, кого-то вталкивали в камеру взамен. Я подсчитал: вселяли больше, чем выводили, оттого кислороду на всех не хватало, дыхание затруднялось.

Потом скудный свет, исходящий от крошечной лампочки под потолком, и вовсе поблек, посерел. На нарах прекратили карточную игру. Наступил относительный покой в этом тюремном чреве.

Почти тотчас с понижением освещённости, и как только прекратилась камерная суета, вдруг подо мной и слева от меня что-то зашуршало. Из всех щелей в полу и в стене полезли клопы. И при слабом свете я смог разглядеть, что клопы были справные, крупные, лапки мускулистые. Плоские головки с носиками-шильцами. Это они своей массой производили шуршание.

Дядя Степан, однако, откинув щетинистый подбородок к левому плечу, удовлетворённо всхрапывал, он не ощущал на себе насекомых, и лишь когда они досаждали неудобством в его носу или в ухе, он, не просыпаясь, ковырял в ноздре или в ухе расслабленным толстым пальцем.

Атака омерзительных тварей была неостановимой. И если бы мне объявили, что такое нашествие плотоядных насекомых будет каждую ночь и что длиться оно будет шестьдесят ночей, я бы из подштанников скрутил тугой жгут, изготовил себе петлю и сунул бы в неё шею, привязав один конец к дощатым нарам. Тем более, как я после убедюсь, добровольное сведение счетов с собственной жизнью тут не только не возбраняется, не осуждается, но поощряется, как камерниками так и надзирательской службой.

Я вскочил и, подпрыгивая, ладонью сбивал насекомых со штанин.

– Чего шебушишься, оголец? – недовольно сквозь сон бурчали соседи, потревоженные моими движениями. – Эк, дурак, какой беспокойный.

Всё моё тело затряслось от безысходности, не желавшее быть пищей многолапчатых жирных кровососов.



Но тут обнаружилось ещё одно явление, не менее ужасное и омерзительное для подростка, который привык жить хоть и в нужде, но в семейной чистоте.

Вши! Крупные серые вши перемещались по камере, с тела на тело так же свободно, как и клопы.

Нашествие клопов схлынуло также разом, как и началось, примерно, за час или за два до утра, до тех моментов, как за дверью, в коридоре, стала усиленно и звучно топтать сапогами ходящая туда-сюда охрана.

Вши, однако, не были так дисциплинированными, потому они ещё долго после клопов оставались на виду, отдельные представители этой мерзопакости продолжали передвигаться по одеждам даже тогда, когда свет у потолка в камере усилился, и когда вся камера проснулась окончательно и стала жить дневной жизнью.

За ночь я не соснул и минуты, всё сбрасывал с себя насекомых, обнаруживая их под рубашкой и подштанниками пальцами на ощупь, так благодаря такому занятию и спасся – ни Кряха, ни его братаны не имели возможности подползти к сонному и чикнуть бритвой по горлу.

Квадратик блеклого зимнего неба сиротливо обозначался над полуприкрытым снизу решётчатым окном. Ничего в окне, кроме бесцветного лоскутка неба. Мне было бы легче, если бы я смог сообщить маме, что я не пал духом, а я действительно не пал духом, я сумею за себя постоять, и чтобы со мной ни случилось, какие бы испытания на мою долю не выпали, я всё вынесу. Ради мамы.

Да, конечно, вынесу. Подумаешь – Кряха. И дружки его такие же трусы, они могут только оравой нападать. Но в камере не только они. Есть тут вот и дядя Стёпа, есть и другие, понял я. Выживу! Мама должна это знать, то есть то, что её сын не пал духом. Её сын совсем не ребёнок, как она считает.

После того, как были розданы брусочки хлеба, похожие на печатки хозяйственного мыла, именуемые пайками (после я узнаю от камерных старожилков, что в брусочке с довеском и без должно быть триста граммов, однако триста никогда не бывает), в дверном проёме появилась группа конвойных, (так говорили в камере, что это конвойные, а может и не конвойные, а кто-то ещё – откуда знать?), один из них выдвинулся вперёд, держа в руках бумагу, жёстко потребовал:

– Слушать всем внимательно! Кого назову, выходить с вещами! Самовольный выход рассматривается, как попытка к побегу...

Конвойный (а может и не конвойный) читал длинную бумагу, свой этот список. В составе вызванных были и Кряха, и его братки, которые били меня. Уходя, Кряха погрозил мне до нервной дрожи стиснутым кулаком, синее лицо его от злобы сделалось фиолетовым, и даже нижнюю губу закусил щелястыми своими зубами. Он явно страдал, что самолюбие его не было в должной мере отомщено. Я встречно показал ему кулак, однако зла во мне не было. Я тут же полез занимать Кряхино место на нарах,

рядом разместился дядя Степан.

– На этап отправляют, – сказал он. – Каждую неделю так выкликают и отправляют.

– Куда? На какой этап? – спросил я, постигая незнакомую терминологию.

– В лагерь, значит, – пояснил дядя Степан. – Взрослых – в лагерь. Малолеток – в колонию. Тебя в колонию повезут. На зоне лучше. Всем известно – лучше. Там пайку можно настоящую заработать. Я вот жду, когда суд будет. Как осудят, так недолго уже будет ждать. И в лагерь. На зону. Я бы согласен, чтобы на фронт присудили, но не присудят, у меня же изъян руки вот...

Дядя Степан отвернул рукав рубахи. Запястье было скручено, а кисть была уродливо-узкой, на ней было всего два пальца.

Я думал о том, отчего у меня на душе нет злости к Кряхе. Душа моя страдала скорее жалостью к нему, чем злостью.

Это моя врождённая, унаследованная от предков – от мамы, наверное – дурь: жалеть своих обидчиков. Помню, сколько ни ввязывался я не по своей (не по своей) инициативе в драку, сшибал на землю нападающего, а потом только хватало во мне духу, чтобы сдерживать его. Со стороны мне шумели: «Дай ты ему, Толя, дай, чтобы не нарывался в следующий раз!» А я – нет: не колотил я поверженного на землю обидчика, предательская жалость в моём сердце тут же возникала. Однажды я так вот сшиб налетевшего с кулаками пацана-забияку, подержал его на земле пока не остыл он, отпустил, а сам я нагнулся, штанину отряхивать стал, чтобы мама не заругалась, а он-то, пацан тот, забияка, когда вскочил, ботинком как пнёт в лицо мне со всей силы. Случайно глаз не выбил. Какие-то миллиметры спасли глаз от ботинка. Зажал я лицо. Опять горькая обида: я-то пожалел его, не стал волтузить, а он меня, стервец, – вот, отблагодарил. И Кряху бы, конечно, я не стал уродовать, будь такая возможность, сойдишь мы с ним в поединке, морда к морде, ну, врезал бы я ему ещё разок для науки, на том бы и остановился. Но Кряха, видать, из другой породы, он бы ножик применил, вилку или что-то в этом духе.

Много, много лет спустя, случится мне прочесть в мемуарах Уинстона Черчилля следующее нравоучение: «Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или умным. Пользуйтесь грубыми приёмами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте ещё – сильнейшим ударом сплеча».

В данной ситуации не позволить подобным Кряхе издеваться над собой – моя цель. А вот русский я человек, не могу так рассуждать, как англичанин рассуждает. Но ведь Кряха тоже русский, ни английской, ни американской, ни еврейской крови в нём и не ночевало.

Шли мои тюремные дни, как в тяжёлом тумане. Раз в день охрана выводила камерников во внутренний двор на прогулку. Ходили кольцом, по кругу, один за одним. Руки за спину. Глаза – в пятки перед тобой

шагающему. Внутри кольца три охранника с овчаркой. Снаружи кольца, по периметру, охрана тоже с собаками. На вышках ещё охрана – сама собой. Я – преступник по высокому счёту. Что ни говори, невольно очень-таки зауважаешь себя, когда вот так стерегут тебя.

Сколько жизни в такие минуты могло бы доставлять небо, его неширокий клочок, висевший над тобой, если бы, остановившись, на него глядеть. Никогда ведь облака в таких кружевах, в таких рисунках, в оттенках не были, а промоины между ними не светились такой бесконечной глубиной! Но не полагается на небо глядеть, глаза – в ноги впереди идущего. А лоскуток живого неба, дышащего на тюремный двор благодатью, можешь ухватить только мельком, крадучись.

Камера пополнялась новичками с воли. Интерес старокамерников к ним был в том, что они с собой приносили кучу новостей. В городе начались перебои с отовариванием продуктовых карточек, убавили хлебный паёк иждивенцам, а работающим на оборонных заводах прибавили. И я беспокоился о маме, ей, значит, убавили. Главная же новость была хорошая: сибиряки отогнали немцев от столицы и что Сталин обещает помиловать и отпустить всех зэков. Камера возбудилась если не поголовным ликованием, то близко к тому. О Сталине говорили уважительно, но сдержанно.

Пополнялась, обновлялась камера и за счёт переселения из других тюремных корпусов, тогда уж мы узнавали не внешние, а внутренние тюремные новости. Эти новости были мрачные, без просвета. Узнавали о том, в какой камере кого удавили ночью втихую, кого втихую зарезали, кого «пустили».

Вот так приводили и уводили, опять приводили, вталкивая силком, и опять уводили... Подобно тому, как в большом заиленном озере, имеющем малый узкий отток и такой же малый приток, что не позволяет ему вовсе заилиться.

Я с высоты своего захваченного места на нарах пробовал посчитать, сколько нас сгружено в камере. Досчитывал до сотни, до полутора сот и сбивался. Начинал снова считать и опять сбивался.

По ночам я по-прежнему не мог спать. Спал урывками днём. По ночам же спать боялся – казалось, как засну, так армады кровожадных клопов и вошей сожрут меня разом.

Камера поднимала бунты, требуя санитарного врача. В дверь колотили ногами, кулаками, а чтобы не было видно, кто наиболее активный, закрывали глазок шапкой.

В самый накал бунта с третьего яруса спускался тот, кого все камерники боялись и слушались, устало садился у печки и ждал, какая реакция последует со стороны тюремщиков. Этот человек был сутулым, почти горбатым. Крупная голова и крошечные прижатые как у кошки припадении на воробья или на мышь, уши. Под глазами набрякшая жёлтая кожа, казалось, будто под кожей скрывались гнойники, а взгляд мокрых глаз свинцово-тяжёлый.

Про него говорили, что он не то шестой, не то восьмой срок тянет и что у него две взрослые красивые дочери-близняшки, ушедшие добровольно на фронт, их фотографии он носит при себе в портмоне и, бережно достав, рассматривает по ночам, когда ничьи блудливые глаза не могут на них пялиться из-за спины или из-за плеча. Зовут его Мирзя, это, конечно, кличка.

О рискованном человеке с такой кличкой ходили разговоры среди пацанов в городе, что он берёт кассы в крупных магазинах, и я не мог не слышать о нём, но представлял его высоким, красивым, непременно черноволосым и кудрявым. А он, оказывается, вот каков: плешивый горбун. Или это не тот Мирзя?

Требуемый санитарный врач не приходил, и был ли таковой в тюрьме вообще, а в проёме раскрытой двери вместо врача появлялись оперативники с овчаркой. Слышалось из коридора, что по другим камерам тот же бунт – эски выражали солидарность.

Белые, длинные, несколько изогнутые клыки собаки на чёрном фоне раскрытой пасти действовали отвращающе. Камера мгновенно замирала. А когда закрывалась дверь, опять начинались крики. Иногда оперативники, доведённые до накала, схватывали ближних и уводили куда-то, а назад уже не приводили.

– Вы что, в натуре, хотите худшего? – вступал в переговоры с оперативниками горбатый Мирзя, он умел в такие моменты сохранять гордое достоинство, мятые щёки его разглаживались, молодели. Сидел он у печки, пил чай, который подливали ему в кружку из копчёной алюминиевой кастрюли его проворные «шестёрки».

Тюремное начальство не трогало Мирзю, но и не внимало его логике. Что, дескать, с него взять, давно отпетого преступника.

– Худшее может быть, – предупреждал Мирзю, отхлёбывая чайный навар из кружки.

И случилось вот что. Арестантам одной из камер на втором этаже, доведённым антисанитарией до психической невменяемости, удалось выскочить толпой в коридор и завладеть ключами. Они выпустили народ из других камер на втором и первом этажах. Орущая толпа преодолела главные ворота и рассыпалась по холму среди голых берёз. С вышек по толпе не стреляли, должно, у часовых хватило благоразумия. По толпе стрелять – как? Впрочем, потом начали стрелять. А потом и пулемёт ударил.

Я бежал с ощущением свободы, мне было весело. Бежавшие впереди меня, свернули в другой двор, с левой стороны, а те, кто продолжал бежать прямо, они прижимались к изгородям. Я искал глазами дядю Степана, к которому уже привязался, но его не было видно ни впереди, ни с боков, ни сзади. Позднее выяснится, что у дяди Степана хватило воли, чтобы не поддаться массовому психозу и не броситься за пределы тюремных стен. Также выяснится, что подобным образом поступила значительная часть заключённых.

И среди убежавших, выяснится, были не многие сотни, как по первому

впечатлению мне казалось, а гораздо, гораздо меньше.

Чем обернётся легкомысленный и шальной мой поступок, я, конечно, не предполагал и оттого, говорю, ощущал состояние глупого телёнка, выпущенного из тесного загона на зелёный солнечный луг. Хотя вокруг был не луг, а снег.

Взяли меня дома. Конечно же, я пришёл домой. Куда же я мог ещё пойти с моим простодушием и мальчишеской наивностью? Хотя мог бы пойти на улицу Гоголя, а не домой на улице Кропоткина. Там, на Гоголя, тётя Шура живёт и два её сына – Витька и Генка, мои двоюродные братья, туда бы, наверняка, не пришла милиция искать.

А домой пришли не далее, как в первую же ночь. И уж брали как матёрого преступника. Предварительно вышибли двери, которые держались на слабых подопревших косяках. Один милиционер придавил меня к кровати костистой коленкой, другой милиционер замыкал наручники. Маму, введенную в шок, оттолкнули. Спрашивали, есть ли оружие. Обыск ограничился тем, что перетрясли постель и слазили в подполье. Везли в «воронке».

Оружие в доме, конечно, было. И не очень спрятанное. Находилось в кладовке среди старых вещей в кадушке. Одноствольная старая переломка тридцать второго калибра тульского завода с расколотым и стянутым медной проволокой цевьем. Подарок дяди Устина, отца брата, приезжавшего к нам из города в деревню Никольское, когда мне был девятый год. Тогда же я с этим оружием, сперва тайно от мамы, а потом и явно, исходил все окрестности, камышовые болота, добывая уток, водившихся в большом количестве, перелетавших с болота на болото стаями. Тот период жизни в памяти моей останется как самый светлый, самый насыщенный впечатлениями и самый, конечно, счастливый. И очень горько сделалось бы на душе, если бы милиционеры пошли искать в кладовку и нашли бы там, в кадушке, старую мою переломку и забрали бы. Таким образом, сознание того, что у меня есть маленькая победа (да и не такая уж маленькая) – переломку-то не нашли, не забрали! – облегчало мою скверную участь.

– Признаёшь свою вину в мошенничестве путём получения на заводе дополнительной продуктовой карточки? – спросит бесцветным голосом судья, седая тётка, закрывая платком простуженный нос. Спросит она об этом через месяц с лишним, когда я, заводской пролетарий, уже окончательно изведусь в бескислородной камере, населенной клопами и вшами. К этой поре я сделаюсь блеклой тенью от себя прежнего.

Брусочек хлеба в сутки, похожий на брусочек хозяйственного мыла, и никакой баланды.

Наконец-то состоялся суд, подошла моя очередь, а это значит – перспектива спасения.

Я утвердительно кивнул:

– Да.

– Отвечай чётко, – так же бесцветно, бесстрастно сказала судья. – Да или нет? Признаёшь или не признаёшь?

– Да, – отвечал я.

– Не «да», а признаёшь или не признаёшь?

– Да, признаю.

И вдруг очень захотелось разжалобить седую женщину, чтобы она выразила сочувствие мне, это мне надо было, очень надо было.

– Да, но... – заикался я. – Иначе-то как? Сестрѣнка Рая болеет, и мама болеет, у них карточка иждивенческая, на моём они иждивении... Брата Васю под Сталинград взяли...

Судья пропустила мимо внимания моё нытьѣ, она не услышала, читая обвинительную бумагу, поднеся близко себе к глазам.

«Близорукая, – подумал я, – как и сестрѣнка Рая».

Зал был пустой и холодный. Воздух в нём был промозглый. Половина зарешѣченного окна забита снизу досками. Два милиционера в шапках и пимах стояли при входе.

– Признаёшь свою вину в совершении бунта и побега?.. – поставила судья новый вопрос.

Я сглотнул подступившую в горле слюну. «Да» у меня вышло невнятно, и я повторил:

– Да... Это...

– Не «да» и не «это», а признаёшь или не признаёшь?

– Да, признаю, убежал, но... это...

И опять хотелось добавить правду о сложившихся на тот момент обстоятельствах. Как же можно не добавить, считал я, как же без пояснения момента?..

Я, заикаясь, принялся говорить, излагать то, как это всё случилось. Метнулись другие, побежали, и я метнулся, побежал. Но судья, как я понял, тут не для того, чтобы слушать, она для того, чтобы судить и зачитывать, и она зачитывала, торопясь, потому что на облупленном столе лежали другие папки, а за дверью ждали другие подконвойные, над которыми следовало свершить праведный суд. Праведный!

Приговор, удовлетворивший и прокурора, и адвоката (какая-то робкая пигалица была придана мне в адвокаты) был таковым: два года по статье за продуктовую карточку и плюс три года за побег, итого 5 (пять) усиленного режима.

«Но, учитывая несовершеннолетие подсудимого, и положительные его характеристики из заводского цеха и с места жительства, от соседей, суд считает возможным ограничить срок лишения свободы тремя годами и шестью месяцами и не строгого режима, а общего...»

Для меня это не было неожиданностью – такой вот вердикт. Бывалые сокамерники мне так и подсчитывали: получишь «за то», потом плюс «за это», минус опять «за то» в итоге... Верно, сокамерники определили чуть больше, они определили в итоге четыре года. А тут, значит, на целых полгода меньше. Повод, значит, для того, чтобы довольным быть, имеется у меня. Так-то.

Я же довольным не был.

Я сидел оглушённым. До меня теперь дошло, что значит выкинуть из жизни эти годы. Целых три с половиной. Но в первую очередь подумал, перенесёт ли удар мама. Хорошо, что её нет в зале суда. Её наверняка не уведили, что сегодня, 22 марта 1942 года, состоится суд над её сыном. Она узнает о судьбе сына в канцелярии суда. Ей скажут, что теперь, после того, как сын осуждён, можно получить свидание с ним и можно принести передачку, что прежде она не могла сделать, так как в тюрьме порядки такие – до суда никаких передач.

Из «воронка», увозившего меня из здания суда вместе с другими осуждёнными обратно в тюрьму, я имел возможность увидеть через узкое оконце деревянный дом под черепицей на улице Молокова, где жила самая лучшая в городе и во всём свете девчонка по имени Эра, в воротах стоял её отец, опершись на лопату, он, должно, отбрасывал от ворот снег, но увидев проезжающую по улице чёрную зловещую машину, прекратил работу. Хотелось мне думать, что Эра смотрит в окно: не могла она, повинувшись сердцу, не подойти в этот момент к окну. После, отвечая на моё письмо, она напишет в колонию, что да, в этот день она что-то чувствовала и видела проезжавший «воронок», который, проехав, потом буксовал на подтаявшем снегу недалеко от её дома, за оврагом. Если бы мне в тот момент сказали, что Эру я больше не увижу, никогда, никогда не увижу. Она окончит курсы сверловщиц, будет работать на эвакуированном военном заводе, в цехе, где ещё и стены не будут сделаны (тогда многие цеха были без крыш и без стен), простынет и умрёт – если бы мне сказали это, я бы головой бился о железный кузов «воронка», ручаюсь. Но никто не мог этого предвидеть и сказать мне. Никто ни в городе, ни в целом мире. Самая красивая в мире девчонка чтобы перестала жить тогда, когда миллионы других живут – такого быть не могло. Мне напишут, что вместе с ней в том заводском цехе простынут другие девчонки, призванные из школы работать на станках сверловщицами, и умрут они тоже от крупозного воспаления лёгких, но мне-то что до других!.. Что!

В камере ждал меня дядя Степан, он сберёт мою утреннюю пайку, и, бережно протягивая её на ладони, проговорил:

– На, ешь.

И лишь потом, когда я, отщипывая маленькие кусочки липнувшего к пальцам и к зубам хлеба, дожевывал последнюю крошку, он, глядя не на меня, а в пол, угрюмо спросил:

– Ну, как там?

Самого дядю Степана возили на суд неделей раньше, определили ему шесть лет общего режима (за что, я не спрашивал, впрочем, что-то связано с колхозным полем, с которого его бригада, состоящая из женщин, не успела до снега убрать пшеницу), и он оставался в камере в ожидании этапа. Я теперь, значит, тоже буду дожидаться, когда вызовут на этап.

Что такое этап, я, конечно, представлял плохо. И даже совсем не

представлял. Ну, слышал – об этом говорилось много и постоянно, – слышал, что это, когда строят колонну, везут на железнодорожную станцию, при усиленном конвое ведут. На станции сажают в вагоны и везут к месту отбывания приговоренного срока. Это всё и называется этапом, чужим, неудобным для меня словом. Пугала полная неизвестность конкретных обстоятельств и перспективы. У взрослых есть надежда, что этап может развернуться не в лагерь, а на фронт, в штрафбат, конечно, но какая разница, все равно. А у малолеток нет никакой надежды.

Дядю Степана выкликнули из камеры на этап в тот день, когда я получил из дома передачу. Но прежде чем уйти, он успел о себе заявить. И заявка эта связана как раз с моей передачей. Это было счастьем – получить ситцевый мешочек, наполненный домашней едой. Надзиратель открыл железную задвижку в нижней части двери и, просовывая мешочек, громко объявил:

– Зябрев Анатолий, получи и распишись!

Мешочек был синего цвета с розовыми цветочками по всему полю. Я сразу узнал: из маминого старого платка сшит. Сбоку пристёгнут белой ниткой крошечный красный лоскуток, это, конечно, сестрёнка Рая о себе напомнила. Красный цвет – её любимый цвет, цвет любви, преданности и надежды. Славная у меня сестрёнка.

– Давай сюда, делить будем, – к передаче, к синему мешочку с красным лоскутком потянулось сразу несколько рук, нетерпеливых и жадных.

Дядя Степан поднялся, чтобы защитить меня от желающих попользоваться халявой.

– Сами поделим, – проговорил он спокойно, однако твёрдо и решительно. Ему передач никто не носил, так как вся родня его жила в далёком сельском районе, а в городе никого знакомых не было, кто бы мог принести ему передачу. – Отойдите от пацана!

В камере было правило, по которому происходила делёжка передач. Осуществлялось это правило в двух вариантах: первый вариант, когда хозяин передачи сразу же половину сам сдавал на верхние нары, другой же вариант, когда за хозяина делёжку производили шестёрки, так же потом отдавая на верхние нары. Шестёрки могли выбирать всё лучшее: яйца, сдобу, мясо...

А картошку варёную и хлеб возвращали хозяину. Хотя мясо и яйца редко у кого в передаче обнаруживались – надзиратели были не дураки, чтобы упустить лакомую добычу и не оставить себе. Ведь по режимному условию каждая передача непременно должна была быть осмотренной на вахте на предмет наличия запрещённых вещей, особенно ножей.

В камере к этому времени вышло так, что отсутствовал единый авторитет. С того дня, как был совершён массовый побег, Мирзю я не видел. Рассказывали разные версии. Одни говорили, что сами видели, как его в каком-то пригородном частном дворе, куда он забежал, затравили охранники собаками, а потом пристрелили, другие уверяли, что Мирзя был доставлен в тюремный больничный корпус и сейчас находится там в отдельной, привилегированной палате, третьи рассказывали, что всё это чушь, Мирзя



сумел уйти и скрыться, и теперь он гуляет на свободе. Последние бандитские действия на городском рынке, а также ограбление международного поезда это, дескать, дело, организованное им.

В камере после Мирзи власть стала принадлежать трём равнозначным групповым лидерам, поделившим зоны влияния: кто-то контролировал ту часть камеры, какая перед дверью, на входе, кто-то – у правой стены, а кто-то – возле окна. Однако сами лидеры всех трёх групп располагались все в одном месте, заняв третий ярус нар. Междоусобицы не наблюдалось. Лидеры находили возможность соблюдать мир, хотя о симпатиях друг к другу, конечно, не могло быть и речи. Это были мини-паханчики, при каждом своя группа шестёрок, призванная держать территорию и порядок на ней. Когда одна группа шестёрок в своём отведённом владении показывала силу своей неуёмной власти, избивая какого-то камерника, нарушившего иерархический закон подчинения, другие группы шестёрок, с других территорий, взирали более чем равнодушно, не вмешивались.

Теперь вот послушался дядя Степан, нарушив камерный закон, нарушать который никому не дано. Он виноват в том, что вознёс голос, заступившись за меня. Никто из лохов не должен ни за кого заступаться, это делать имеют право только сами авторитеты или доверенные прислужники авторитетов, то есть шестёрки. По сигналу, конечно. Если же сигнала нет, то и прислужник-шестёрка не может выступать с карательными действиями. Он может лишь выразить своё неудовольствие ну, взглядом, ну, гримасой, сжатием кулаков и с этим отступить, пока авторитет не кивнёт: «вали».

Дядя Степан нарушил закон, и его сейчас будут прорабатывать. Валишь. Нельзя, чтобы рушилась иерархическая традиция. Тут уж дело чести любого пахана или паханчика, малого или большого. Валишь и никакой пощады.

Дядя Степан, этот деревенщина, колхозник необразованный, и прежде выказывал свою независимость (но не настолько же!) и ему сходило с рук, сходило, может, как раз потому, что простоват у него вид, увалень да к тому же с изувеченной рукой, инвалид, не годный и в штрафбат. На дядю Степана сокамерники сейчас глядели по-разному: одни с сочувствием, с жалостью, дескать, сам виноват, несчастный, другие же с ухмылкой, даже с животным интересом: совсем кончат колхозника или ещё поживёт после этого какое-то время?

В углу, за нарами, спешно натягивались рваные куски простыней. Тот угол не просматривался из дверного глазка. Так всегда было: когда кого «учили», прорабатывали, то уводили на экзекуцию именно туда, в занавешенный угол, с кляпом во рту. На обречённого набрасывались волчьей стаей сразу сверху и снизу, с нар и с пола. Затыкали рот куском тряпки и уводили в тот угол, откуда затем долго доносились тяжёлые стоны. Туда же уводили обречённых на то, чтобы опустить в «петухи». Если, гремя засовами, открывалась дверь, и коридорный надзиратель через толстую решётку спрашивал: «Там всё ли в порядке?», ему отвечали с нар:

«В порядке, в порядке!» Нижние же молчали, таили.

Через много лет, когда я, не в силах забыть эту жуть, эти картины, стану осмысливать, то найду, что порядок в тюремной камере был точно один к одному скопирован с порядка в государстве. Одна и та же модель. Верхние докладывают: «всё в порядке», нижние – молчат, утаивают и затаиваются.

Я ещё не мог определиться, насколько я могу облегчить решённую (уже на сто процентов решённую) судьбу добрейшего дяди Степана, я был готов отказаться от передачи, от этого бесценного тугого ситцевого мешочка, отказаться в пользу наглых обидчиков, полностью отказаться, дабы изменить ситуацию, дабы спасти дядю Степана, я уже был готов объявить об этом, как вдруг вся ситуация изменилась.

Дальше произошло мгновенно вот что. Дядя Степан с незнакомым для меня и всей камеры остервенением на своём заросшем лице вдруг ударил в ухо тому, кто, подойдя, намеревался заткнуть ему грязным кляпом рот.

Ударил дядя Степан как-то неумело, не так, как дерутся в городе, не тычком, не по-боксёрски, а с плеча, размашисто. Видно было, что драться он нигде не учился и совсем не умел. Деревня, колхозник. Тем не менее, нападающий свалился кулём на пол, сваливаясь, ещё двух или трёх своих дружков свалил.

И тут началось!

Дядя Степан, отступив сутулой спиной к стене, не давал никому к себе подступиться. Если же кто оказывался на расстоянии кулачного удара, то летел от него далеко подобием рыхлого куля. Бил он всё также, с размаха. Эффект получался потрясающий. Бил правой и левой.

Вот это да!

Нижние сокамерники сбились в одну сторону и наблюдали, вытаращившись, с удивлением, верхние же были если не в панике, то в растерянности полной, как же, одного лоха не могут взять! Инцидент крайне опасен для тех, кто держит власть в камере, населенной под завязку двумястами душ.

Солидаризуясь, камерные паханчики решили объединить усилия своих сторон. Но было уже очевидно, что дядю Степана взять не удастся. Невозможно его взять. Никакой силой. Он либо умрёт, либо отстоит сам себя. Умирать он, как видно, не собирался. Он превратился в нечто круглое, в плотно сжавшийся комок с кровью, проступающей не то из глаз, не то из ноздрей и ушей, он крутился на месте, нанося разрушения всему живому и не только живому. Уже опрокинулась кадушка с питьевой водой. Кадушка валялась пустая, а вода сама по себе топила ноги и всё, что было на полу. Осталось ещё опрокинуться параше, чтобы «добро» также растеклось по ногам и полу. Уже летали по воздуху котомки, шапки и прочие вещи. Летели обломки нар.

Потеряв человеческий рассудок, дядя Степан обратился в загнанного зверя. И вот двинулся он от стены уже в наступление, удары нанося более

убойные.

И тут бы ему, когда отошёл он от стены и когда вперёд двинулся, конечно, суждено было бы погибнуть, потому как сзади, со спины, остался мужик незащищённым, открытым, пырнули бы его чем-нибудь под лопатку.

Но спасло провидение. Загremели стальные засовы и в растворенной двери появилась охрана с автоматом и с овчаркой матёрой, масти не серой, а какой-то бурой, почти красной, которая нервно водила брюхом, втягивая в себя воздух, а воздух-то был густо пропитан гнилым запахом человеческой плоти.

Скоро прибыли санитары, на них были старые дырявые халаты, матерясь, они выносили сражённых, тех же искалеченных, кто еще сам мог двигаться, уводили, а под конец охрана увела и самого дядю Степана, приговаривая ворчливо:

– Ты что же натворил, ай-ай... тудыт-твою растуды! Как вроде бы цыплят вон поизметелил и раскидал... В карцер вот пойдёшь. Ишь, развоевался! Будто герой какой выискался. На фронт бы тебя, фрицев бы один с такой злобой метелил...

– Да уж метелил бы, – загудела камера одобрительными голосами.

– На фронт не берут, – жалуясь, буркнул дядя Степан.

Надзиратели ругались как-то вяло и притворно, без обычных надрывов в голосе. Было ясно, что всю картину побоища они видели в глазок. До поры, до времени не мешали, наблюдая. Правду сказать: тюремщики не любят настырных, кичливых блатяков, они для тюремной obsługi постоянные раздражители и головная боль, я это успел понять.

Между тем я хватился искать мешочек, мамину передачу. Синий, с розовыми по полю цветочками, мешочек-то вот только был у меня между колен, а уже нету. Соседи сидели повернутые ко мне спинами, затылками, сосредоточенные в самих себе – спросить не у кого. А вон что это такое буренькое, просыпанное по нарам? Это остатки пшённой каши. Мама не могла не раздобыть где-то для сына горсть пшена и приготовить сухую кашу, как это она умеет делать. Любимая еда – пшённая каша, томлёное в чугушке зерно и потом поджаренное насуху в сковороде так, что крупинка от крупинки отдельно. По карточкам в городе пшено давно, с самой осени не давали. Послюнив палец, подобрал я крупинки и, положив на язык, стал экономно высасывать в них заключённую сладость и здоровый дух.

Дядя Степан сколько-то дней пробыл в карцере, а потом почти сразу же, как только вернулся он в камеру, его выкликнули в этап. Был он угнетён, в лице отрешённость, в запавших глазах пустота. Какой-то слом получился в душе у дяди Степана.

– Ну, Толян, выживай. Держись. Свидеться вряд ли уж доведётся... Прощай – сказал он, глядя себе в ноги.

После ухода дяди Степана, через неделю, выкинули на этап и меня.

## ЗОНА

Итак, завершилась моя тюремная жизнь. Впереди предстояла жизнь в зоне. В какой, где? Кто-то пустил слух, что малолеток могут подготовить и потом отправить в леса Белоруссии в партизанские отряды юными разведчиками. Это было бы да! Но слух оказался слухом. Впрочем, не знаешь, куда повернёт завтрашний твой день.

Везли нас в транспорте довольно хитрого изобретения. Над кузовом грузового автомобиля установлены металлические дуги, а по дугам, сверху, накинута сеть колючей проволоки. И всё тут рассчитано талантливым изобретателем едва голову повернул, как тут же натыкаешься рылом на ржавые колочки. Потому сиди смиренно. Побег из такого транспорта учинить невозможно, что очень радует конвоиров. Само собой разумеется, всякий разговор в пути запрещён. Костенеют от холода пальцы на ногах, и чтобы они окончательно не окостенели, я пытаюсь активно шевелить ступнями, это же делают и мои соседи, дробно, вразной, ударяя подошвами по железному днищу кузова. Надежда на юного разведчика в белорусских лесах таяла как дым.

Вспомнился заводской цех, слёзы подступили к глазам. Как там было хорошо! Свои пацаны и девчонки кругом за верстаками, у всех горячее дело, своё задание от мастера, но каждый мог подойти к соседу, поинтересоваться его работой; если не подойти, то уж, не прерывая работу, повернуть голову и приветственно улыбнуться непременно мог. Это, то есть взаимное участие и общий интерес сплачивали нас, приходило понимание того, что мы едины, принадлежим не только своей личной судьбе, но и цеху, заводу, стране, которая нуждается в нас, позвав из школьных классов встать за производственные станки и верстаки. Тому, кто выполнял норму, мастер мог дать записку, по которой счастливый стахановец летел в цеховой буфет и там ему буфетчица, важная тётя Юля, наливала стакан компота из сухих яблок. Могла тётя Юля приложить к компоту ещё и чёрный сухарик, если в записке был особый знак, что ты сегодня не норму выполнил, а больше. Сладкая пора!

А теперь вот чуть повернул голову, чтобы обозреть места, где ехали, в щеку, в шею втыкается ржавая стальная закорючка. Ловкая конструкция! Юных партизан так не возят.

После долгой езды остановились в широкой степи, помеченной кучкой приземистых бараков. Это и был лагерь. Конечный пункт нашего пути. У ворот, на ветру, нас продержали остаток дня, до сумерек. В зоне уже включились прожекторы. Голубовато-оранжевые пучки света легли на степь. К лагерю прибывали другие грузовики, полные этапников. Матерились, перекликаясь, конвойные, они были злы оттого, что перемерзли в дороге.

Людей строили в колонны, пересчитывали, выверяли по спискам. Тут я успел сблизиться с парнишкой, который вызвал у меня доверие тем, что на его круглом лице было выражение явной незащищённости и совсем уж

какой-то детской обиды. Что происходит вокруг, зачем он тут оказался – он не понимал, и это было написано на его лице. После я узнаю, что у него мать сельская учительница, она учил его видеть в людях светлые черты и верить в добродетель. Впрочем, всех нас этому учили и в семье, и в школе.

Привезли полный кузов девчонок, их морить не стали, пропустили вне очереди, сразу же построили и увели в ворота.

Лагерь бывают разных типов: чисто взросло-мужские, чисто малолетно-ребячьи, чисто взросло-женские и чисто малолетно-девчачьи. Но бывают и сборные, где содержатся и первые, и вторые, и третьи, и четвёртые. Делятся лишь бараками.

Этот лагерь, значит, сборный. В таких зонах, говорят, проще режим, и тем, кто в них попадает, считают знатоки, – сильно повезло. Мне, выходит, повезло.

Но так или не так, повезло или не повезло мне, обнаружится после.

Впрочем, забегу вперёд и скажу: в этом лагере за номером 78, расположенном к северо-западу от районного городка Бердска, мне, и верно, повезёт, потому что живым я выйду отсюда, и почти невредимым.

Термин «выйду» – не совсем точный в данном случае. Точнее будет, если сказать: «выведут». «Вывезут».

А ситуация будет состоять вот в чём? Однако про это после. А сперва по порядку, в последовательности происходящих событий.

В бараке, куда нас загнали, разбиты стёкла в окнах. Здесь было несколько теплее, чем в открытой степи. С потолка по углам свисали пучки крупных и мелких стеклянно-прозрачных сосуль. Нам было велено раздеться донага, одежду и все принесённые с собой вещи собрать и покидать ворохом в тележку на деревянных колёсах.

Оставшийся голый народ был выгнан на снег, где после короткой пробежки оказались мы в другом бараке. Здесь было сыро и также знобко, ледяные сосули держались по углам, на мокрых скамейках стояли пустые деревянные шайки, сопревшие с краёв.

Нетрудно было догадаться, что этапников привели в банный узел.

Меж голыми телами от скамейки к скамейке ходили парикмахеры, сытые бесцеремонные мужики, они ручными машинками снимали растительность с голов, бород, подмышек и лобков.

– Эй, ты! Валяй сюда! – кричал парикмахер на заросшего доходягу, представлявшего собой пособие для школьного урока по анатомии. – Зачем тебя взяли-то? Ты бы и там сдох. На воле. А тебя сюда привезли. Ни воровать, ни работать.

– Гы-гы, – пытался угодливо смеяться несчастный доходяга, щерясь беззубым ртом.

– По какой статье?

– Одна у нашего брата статья... – отвечал мужичонка.

– Что, поди морковку на рынке спёр?

– Гы-гы.

– Баба хоть была?

– Да была.

– Вот, поди, рада, что освободилась от тебя.

– Гы-гы.

Я заметил, почти у всех доходяг рты без зубов. Блатяки в камерах имеют страсть вышибать доходягам зубы. И получается это у них до омерзения ловко, натренированно; короткий стремительный тычок кулака и вот уж едало пустое: из расквашенных губ выхаркнулись сгустком крови кусалки. А без кусалок-то какой ты жилец в звериной стае, только и остаётся угодливо гнуться да отвечать: «Гы-гы».

– Гы-гы.

Пока стрижка не кончилась, воду не давали. А как парикмахеры ушли, так и началась помывка.

Было объявлено, что воды по две шайки, не больше. По квадратику вонючего мыла выдали, которое с соприкосновением с мокротой тут же и разлезалось в ладони.

Толстый одноглазый банщик, подпоясанный по голому брюху махровым полотенцем, походил на медведя, и, будучи железно уверенным в своей неборимости, то и дело раздавал пинки. Даже перед урками он вёл себя независимо, однако давал им воду сверх определённой нормы и делал вид, что не замечает, как эти самые урки, выглядев малолеток посправнее, зазывали к себе в угол, отгороженный простынёю. Мне очень не хотелось, чтобы они, поганцы, заманили к себе моего нового товарища Мишу Савицкого. Перед занавешенным углом шестёрки всей оравой образовали плотный полукруг и громко стучали шайками, создавая защитный шумовой барьер.

Карантин длился две недели. Завтрак и обед дневальные приносили в барак в деревянных кадушках. Вставляли берёзовую палку в проушины кадушки и так несли. Мороженая картошка и мороженая капуста в чуть тёплом постном бульоне. Охотников закосить лишнюю порцию было достаточно. Расправа наступала незамедлительно. Процедура расправы не отличалась выдумкой, была традиционной: «закошенную» алюминиевую миску дневальный надевал на голову несчастного воришки и содержимое тщательно растиралось.

Миша Савицкий сперва вылавливал картошку, потом зелёные листки капусты, а тогда уж выпивал подсолённую жижу, при этом с лица его не сходило выражение глубокой брезгливости. Я же поступал наоборот: сначала жижу через край выпивал, а тогда уж щепочкой выгребал гушу. Ложек не давали. Иметь ложку – роскошь, блажь.

Карантин кончился. Повели колонной за зону на работу. Разговор один: какую теперь пайку гражданин начальник начислит и улучшится ли баланда. Работа состояла в том, чтобы перебирать стылые, капустные кочаны, хранившиеся буртами среди колхозного поля. Оледеневшие кочаны надо было высекать из приваленной снегом кучи лопатой или

ломом. Освобождённый от ледяной корки кочан перекинь в сколоченный из соснового горбыльника коробок, придет на лошади расконвоированный зэк и свезёт капусту в столовую поварам, которые приготовят обитателям зоны еду. Едоков, пожалуй, не одна тысяча, сколько же это надо кочанов! Поле колхозное, кочаны колхозные, а едоки зэки, невесть откуда родом и откуда согнанные.

Стылый кочан пронизан льдом так плотно, что подобен огромной бульжине, на ногу уронишь – от боли запрыгаешь. По ботанике в школе проходили, что этот растительный продукт родом из какой-то очень далёкой тёплой страны, кажется, из Индии, где никому не приходит в голову есть её – бананов и ананасов для того полно (на картинках доводилось видеть), – тем более мороженую. Скажи дикому индусу, чей интеллект на уровне обезьяны, живущей рядом с ним на дереве – расхохочется, живот надорвёт.

За краем поля опускается серое, дымчатое небо, туда уходят облака. Тоска охватывает, сжимает грудь, когда глядишь вдаль. Замечаю, все зэки стараются не глядеть на горизонт, борясь с чувством тоски, и оттого срывают друг на друге злое раздражение.

– Ты, падла вонючая, чего шаршишься под ногами? Ломиком вот поглажу!

– Я тебя вперёд ломиком! А потом схаваю. Вот будет обед всей бригаде!

– Зенки раскрой, кого тянешь, фраер колхозный!

– Всё! Всё, ты отжил! Ещё раз болтанёшь и записывайся в покойники.

Но до физического боя дело не доходит. У конвоиров на виду. И вообще мериться мускульной силой в бригаде желания особого нет ни у кого, а словесная перепалка нужна, очень нужна, и чем круче, тем полнее разряжает душу.

Наступивший апрель не принёс тепла. Холод и ветер. Весна, казалось, забыла про эту лесостепную местность, хотя сперва и напомнила о себе малыми проталинами. Конвойные не запрещали нам поддерживать возле сарая скромный костерок, куда можно было подsunуть озябшие ноги и подвялить, подкоптить на палке капустный листок. А что – тоже харч. Вот соли бы ещё! Но соль – дефицит страшный. В столовке-то баланду дают почти несолёную. Вольняшки приносят соль в спичечных коробках, она тёмная, будто только что из солевого карьера добытая, крупнозернистая, за коробок выменивают нечиненую рубаху или какую иную толковую вещь.

У Миши срок маленький – семь месяцев. Он подсчитывал: в январе его взяли, в июле, когда в огороде вызреют огурцы и первые помидоры, он будет дома, у матушки. Разрежет пупырчатый огурец на две половинки, посыпит солью и схрумкает, зажмуривши глаза от удовольствия. И помидор алый тоже разрежет, тоже посыпит...

Мише пришла посылка – фанерный ящичек с сухарями и сушёной клубникой. Он поделился с бригадой – каждому по два сухаря и по горстке ягод. Я отправил домой письмо, указал обратный адрес, ничего не просил, но знал, что мама сразу же соберёт посылку в таком же вот фанерном ящичке и отправит.

Бригада только что вернулась в зону с работы, я сидел в бараке, размотав отсыревшие портянки, давно не стиранные, ожидал, когда объявят выход на ужин.

– Тебя, шкет, на КПП вызывают. Дуй галопом! – сказал дневальный, поддав, как и полагается, затрещину.

Я так и решил: уведомят сейчас о присланной посылке.

Прибегаю впопыхах на вахту.

– Вон к окошку иди, – направил дежурный.

Окошко в стене малое. К тому же оно было густо зарешечено толстой арматурой. Открылось окно, и я увидел по ту сторону маму.

Широкое мамино лицо, обрамлённое тёмным вязаным платком, было страдающе-угодливым, печально улыбающимся. Сделались колики в груди. Я с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать от жалости к маме. Я стал тоже улыбаться, бодрясь. Внутренние слёзы давили грудь и горло. И так мы стояли, разделённые решёткой в квадратном оконце.

– Носки я шерстяные принесла. Чаще стирай их, теплее будут. Стирать-то у вас есть где? Печатку мыла принесла. Рубашку толстую нательную тоже принесла, и её чаще стирай. А варенье на сон ешь, оно от простуды, малиновое...

Я боялся, что мама спросит, сколько мне судья дал, и потому бодрился пуще, навлекая на себя ухарский вид. И только кивал, рот не открывал.

Мама обходила вопрос о сроке. Она или уже всё знала или же не знала и тоже боялась узнать срок, на который разлучена с сыном своим непутёвым.

Я говорю, кивал и натянуто улыбался, рот не открывал, потому что, разомкнув рот, я уже не смогу сдержать то, что спёрлось в горле. По голосу мама узнает, насколько её сын слаб и беззащитен.

Потом я не мог вспомнить, успел ли я за пятнадцатиминутное свидание (а может и не пятнадцатиминутное, может меньше, но не больше), что сказать маме или так и промолчал, натянуто бодрясь и показно улыбаясь. Дежурный закрыл оконце, за передачей он велел зайти в комнату, тут же, при КПП. Здесь очередь за посылками была большая, один пацан из нашего барака – Таран Махмудов, пропустил меня, подмигнув, громко сказал, чтобы все стоявшие в очереди слышали:

– Толян, я на тебя очередь занял, вставай сюда вот.

Лицо у Тарана распорото в драке стеклом по правой щеке и оттого он кажется свирепым, но фактически нормальный пацан, даже мягковат характером.

Вернулся я в барак, когда бригада уже отужинала, все были по



нарам.

Не было на нарах лишь Миши, мне сказали, что он в столовой караулит мою порцию. Я побежал в столовую. В тамбуре темно, я столкнулся с длинной фигурой, которая, выпустив струю сочного угрожающего мата, двинула конечностью, я успел вывернуться от удара. Так всегда поступает с одиночными опоздавшими дежурный по столовой.

Миша сидел на дальнем углу стола, придвинув к себе тарелку и отгородив её руками. За его спиной томился скрюченный доход, надеясь, что что-нибудь перепадёт ему.

– Отдай, – великодушно распорядился я.

– Что? – спросил Миша, недоумённо оглядываясь.

– Ужин отдай ему, – сказал я, кивая на дохода. И, достав из кармана творожную шанежку, подал Мише. – Мама на свидание приехала. Пойдём. С вареньем и с ватрушками чай будем пить.

Глаза у Миши загорелись и тут же погасли. Ему тоже очень хотелось, чтобы с матерью повидаться.

Он, Миша, был у нас в бригаде достопримечательностью великой: владел умением исполнять разные акробатические трюки. Да как владел! Учился он этому делу в своей школе, у них там физкультуру вёл бывший циркач, живущий в деревне на поселении, знаменитый Кола-Оглы, так Миша говорил.

И то, чему Миша научился у этого самого Кола-Оглы, чуть не привело его, Мишу, к гибели от выстрела конвоира.

Тогда пригрело солнце, вся бригада вылезла из замороженного капустного сарая на солнцепёк передохнуть, обогреться. На всех напала охота похвалиться каким-то своим умением. Один показывал, как он языком достаёт подбородок, другой ухом, похожим на раковину, дотягивается до носа, третий уверял, задыхаясь от азарта, что если на спор, за горсть табаку, он выдавит пальцем себе глаз и потом заново на место вставит. Мне похвалиться было нечем. Миша же, резвясь, подпрыгнул и сделал двойное или даже тройное сальто в воздухе, при этом перемахнул с одной стороны костра на другую сторону. То есть через костёр перемахнул. Бригада стала просить его, чтобы парнишка показал что-то ещё. Миша изобразил катящееся колесо. Этаким вихрем прокрутился – голова-ноги, ноги-голова. Да вокруг костра по подсохшей поляне, да вдоль сарая – прокатился. Вот уж поразил!

Миша отдышался и какие-то ещё кренделя выказал: стойка на одной руке буквой «Г», потом также буквой «Г» на одной ноге. Конвойные, сидящие на чурбачках по углам отведённой нам территории, не запрещали такое баловство, смотрели с любопытством, дескать, эка какие фокусы могут эти зэки вытворять.

А потом Миша и вовсе вошёл в азарт, глаза лучились, ему захотелось выложиться на полную катушку, тем более, это было на второй или на третий день после того, как он получил из деревни посылку, силёнок

немного наел, мускулатура заиграла.

Он упал на правый бок, вернее на правую руку, пимами намокшими тряхнул в воздухе, тут же опёрся на руку левую, изогнувшись в левом боку, шапка с головы слетела, а туловище Миши таким манером пошло весело вертухаться по склону, к зарослям набирающего почки тальника, где под ещё нетронутым навалом снега дремала речушка с прорубью.

Земля с прошлогодней травой на склоне уже успела вытаять и обсохнуть. Тот конвойный, который сидел на вытаявшем склоне, забеспокоился, взял в руки оружие, до этого стоявшее приткнутым к дереву.

Мише бы остановиться, а он, подхваченный разожжённым в себе куражём и нашим весёлым улюлюканием, по инерции отмерял и дальше сажени – голова-ноги, ноги-голова...

Забыл Миша, дурак деревенский, что уже за метр до запретной полосы конвойные стреляют без предупреждения. На поражение стреляют. Выстрел грянул! Не мог не грянуть.

Конвойный на счастье кривой оказался, с бельмом на глазу. Некривые-то все на фронт давно угнаны.

Дураку Мише, мечтающему обучиться на циркача-акробата, полагался карцер и изрядный навар к сроку по статье «За попытку к бегству», а всей бригаде ужесточение режима и перевод на урезанную хлебную пайку.

Бригадир наш оказался мужиком смекалистым, практичным, – у него золотые зубы, три или четыре, под вздёрнутой верхней губой, это вызывало у охраны почтение, – он как-то утряс конфликт, умилостивив старшего конвоя аппетитным куском сала из чьей-то посылки – дело было замято.

А вот драться Миша при своих циркаческих талантах не умел, ну, никак. И не хотел драться. Его мог «оттянуть» любой тщедушный доход. Доходы это дело освоили блестяще – умение «оттягивать» противника. Они орут больше от страха: «Я тебе пасть порву, я тебе зенки выткну...»

Миша обычно тушует, теряется, когда на него так орут истерично.

И уступает. Тем самым вдохновляет хилияка-дохода на более активное наступление. А надо сразу врезать такому нахалу прямиком в лоб. Прямиком и резко.

Впрочем, если этот подонок не трясёт перед твоим лицом пальцами-рогулинами, можно и не сразу целить ему в лоб, можно и погодить, смотря на дальнейшее развитие событий. Я уже говорил, что мне эта наука «удара в лоб» даётся сложно. Не могу я, как и Миша, душа к этому не лежит. Жалость глупая одолевает к всякому подонку-визгуну.

Достопримечательностью в бригаде был ещё и Женя Ястревиц, по кликухе «Хохол». Он уверял, что родом из Одессы, с какого-то там самого знаменитого квартала (я не запомнил), и что всю жизнь прожил в Одессе. По-моему, он наверняка врал. А враль он был отменный. Мог он быть из любого другого города, также из Киева, Рязани, из Воронежа, Бердычева...

Кстати, про Бердычев Женя Ястревиц напевал песенку лихую:

*Эй, Бердычев, мой Бердычев,  
не тому меня обычев,  
На красиву жизнь путив,  
Судьбой жиганской наградив».*

При этом неясно было, как понимать на хохлятский манер произнесённое слово «обычев», то ли в смысле «обычил», то есть в быки произвёл, то ли в смысле «обучил».

Гляделся Женя Хохол и на двадцать с немногим, и на вдвое старше, то есть на пятьдесят. На фиолетовом лице кожа вся смятая, отстала от скул, омертвела. И совсем неожиданно серые выпуклые глаза его вдруг начинали светиться иронией, бесшабашностью.

– Эй, гитару подайте мне! – шумел он. – Фраера!

А так как никакой гитары на капустном бурте, понятно, не могло быть, – и вообще окромя мороженных кочанов ничего тут не было – он брал удобное полено из кучки дров, приготовленных для костра, складывал калачиком ноги, раскачивался и начинал бить азартно худыми пальцами по дереву. Натурально заводился:

Ай, ну разменяйте мне да сорок миллионов,

Ай, свою Сару пойду я да навещу?

Изображать старого одесского еврея – его козырь. Ох уж как изображал! Хохот! За животики все брались. И конвойные ближе сходились, теряя положенную бдительность, смеялись тоже.

– Ну, ты, Хохол! У-ух! Какая только тебя мать родила! – удивлялся старший конвойный.

Женя Ястревич из категории неисправимых уроков. Во всяком случае сам так считает. И делает только по своим понятиям. Чтобы за какую работу приняться – ни-ни. Так весь день возле костра сидит и сидит. Да и слаб Женя безнадежно для работы-то настоящей. Одышка. Внутри у него, по моему, всё надорвано, всё хлопает: и почки, и селезёнка, и прочее. Дышит – хлопает, идёт – хлопает внутри его. Профессиональный карманник. Щипач. объездил страну всю. Мужики ловили его за руку в своих карманах, а потом, разъярённые, сажали на зад или бросали с высоты плашмя на позвоночник. Удивительно, что никто из самосудчиков не решился обломить, изуродовать щипачу пальцы, очевидно, интуитивно чувствовали, что этого делать нельзя, ведь пальцы для щипача-профессионала есть главный жизненный инструмент.

В больнице лагерной Ястревич не в почёте, туда таких, как он, хроников, не берут, тратиться на них медикаментами никакого резону:

Ай, ну разменяйте мне да сорок миллионов,

Ай, свою Сару пойду я да навещу, – не унывал наш Женя, рождённый непонятно зачем и для какой жизни.

Судимостей своих Женя не считал. Какой он срок тянет, не помнит.

«Тянул» на Колыме, где половину зубов оставил. Тянул в Хибинах, где добывают лопатами и кирками удобрение для колхозных полей. Тянул в одной из южных братских республик, где от жары потерял последние волосы на конусоподобной голове.

Чем плотнее я вживался в бригаду, тем реже посещали меня тяжёлые мысли и тоска по дому. Казалось, что жить можно.

Но телесная слабость подступила как-то разом. Дело в том, что барак наш перестал отапливаться. Стало ночами совсем стыло, как в полевом сарае. Матрацы и одеяла полагались только бригадирам.

Сперва Миша простыл основательно. Через день или два я тоже захрипел. Но у меня был не такой глубокий кашель, как у него. Мы оба очень боялись ослабнуть до той крайности, когда конвоиры на разводе, заметив явно больных в колонне, отказываются вести их за зону. Тем, кого не берут на работы за зону, урезается пайка.

И однажды старший конвоя с кличкой Рыкун меня заметил. Как я ни бодрился, а он, Рыкун, заметил. В то утро на разводе совсем уж меня сильно знобило. И, наверное, нельзя было не заметить, что я едва держался. Ноги тряслись, Рыкун коршуном подлетел и в гневе вытолкнул меня из колонны. Ему совсем ни к чему – отвечать за доходягу. С нескрываемыми слезами я возвращался в нетопленный барак. У меня была отнята возможность погреть ноги и спину у костра.

Но тут судьба улыбнулась. Да, да, судьба. За меня ведь мама молилась.

Когда я шёл в барак, то навстречу от барака, шёл человек, которого я должен был узнать, но которого я не узнал, потому что не мог себе допустить, что встречу его тут. Не узнал я, но показался он мне знакомым. Шёл он крупным твёрдым шагом, так в зоне ходят только бригадиры больших бригад да ещё нарядчики. На нём были пимы с калошами и дублёный полушубок.

Когда человек уже прошёл мимо, я решился окликнуть в спину:

– Дядя Степан!..

Окликая, я ещё не был уверен, что это именно он. Мало ли людей бывает похожих. Двойники, тройники и прочее.

К моему великому счастью это оказался он. Тут и дядя Степан узнал меня. В противоположность ему я представлял крайне жалкий вид в арестантском ватнике, состоявшем из сплошных латок. Суконную тужурку, доставшуюся мне от брата Васи, в которой я пришёл с воли, успел я портозейству сжечь на костре, и выдали мне ватник из запасов лагерного имущества. Дядя Степан с расстояния некоторое время оглядывал встреченного оборванца, изучая, как бы решаясь: признавать или не признавать, а потом ухватил меня за плечи и стал по-отцовски трясти.

– Да ить это ты, Толя, камерный сынок. Ну, ну, ты, оказывается, тоже здесь, – приговаривал дядя Степан с искренним волнением.

Дядя Степан расспросил: в чьей бригаде я, в каком бараке, сказал,

что завтра он договорится с кем надо, и меня переведут в бригаду хозяйственного обслуживания, то есть в ту бригаду, в которой он, дядя Степан, является бригадиром.

– У меня тут, понимаешь, землячок отыскался в операх, помогает мне, поможет и тебе, не тужи, – говорил дядя Степан, хлопая меня тяжелой ладонью, искренне радуясь встрече. – Выживем, когда так-то, не тужи, главное.

Весна в тот год затягивалась основательно. После некоторой оттепели, когда уже набухла верба в речной пойме, и когда уже затуманился близкими дождями горизонт, вернулись морозы, засвистел опять северный ветер, принёсший снегопады.

В надежде на лучшую перспективу я, расставшись с дядей Степаном, отправился, как уже говорил, в барак. Повторяю, судьба послала мне такую встречу за мамины слёзы и мамины молитвы. В пустом бараке оказалось холоднее, чем ночью. Надышанный за ночь тёплый дух успел улетучиться в раскрытые двери. Я залез на нары, завернулся в ватник, подтянул к животу ноги, попытался согреться. И уже было согрелся, как вдруг дневальный потянул резко за ногу:

– Эй, ты что же? Сачканул на разводе? Думаешь и тут сачковать?

Не выйдет. Бери вон швабру, драй полы, шкет замороченный. У меня не отлынишь.

Я не стал возражать. Дневальный – власть в бараке очень серьёзная. Набрал в деревянное ведро черпаком из стоявшей в углу ржавой бочки воду, взял швабру и принялся за дело. Знобило и качало.

Дядя Степан появился, глянул на дневального так, что тот понял: перед ним сила. И велел мне забрать свои вещи и следовать за ним.

– Назначаю тебя бригадным сушильщиком, – объявил он.

Пришли мы в хибарку с узким зарешёченным окном. Три четверти пространства занимает огромная кирпичная печь с плоским, как площадка, верхом, похожая на танк.

– Твоё место на печи, – объяснил дядя Степан весело. – Располагайся в своё удовольствие.

Получив возможность растянуться во весь рост на тёплых кирпичах, я не мог и мечтать о лучшем.

Дядя Степан объяснил назначение данного хозяйственного объекта и мои функции здесь.

Сушилка обслуживает хозбригаду, занятую на работах внутри зоны. Для других же бригад, которые ходили работать за зону, вообще не было сушилок в лагере.

Моя обязанность состояла в том, чтобы с вечера набивать печь дровами, а затем просыпаться среди ночи и подбрасывать в печь ещё поленья, которые подготавливались на улице бригадными людьми. И ещё моя функция была: принять вечером от бригады отсыревшую обувь, расставить на печи, а утром раздать. И при этом я не освобождался от всех тех работ, какие выполняла бригада. Нельзя мне было отлынивать.

Даже при недомогании. Если бы я вздумал остаться в сушилке на день, меня непременно обнаружили бы проверяющие из состава охраны и тогда бы меня вернули в мою старую бригаду, а у дяди Степана возникли бы проблемы.

Друга своего Мишу я теперь мог видеть только у КПП на разводе.

А прийти к нему в барак я уже не мог – не позволялось режимом. На разводе же друг мой Миша обычно стоял в предпоследней шеренге бригадной колонны. Он был весь нахохленный, ужавшийся, горькое чувство обиды теперь проступало не только в лице его, но и в ужатых плечах, спине. Он был совсем одиноким. Наша хозбригада всегда на разводе стояла так, что Миша не мог видеть меня, потому мне хотелось его громко окликнуть, чтобы он обернулся, но это строжайше запрещено опять же режимом – и разговаривать, и оглядываться. У меня была надежда уговорить дядю Степана, чтобы он и Мишу взял в свою хозбригаду, как взял меня, похлопотал чтобы, где надо, ну, перед своим каким-то там земляком, что ли, служащим в лагере опером.

Теперь я не ходил в столовую вместе со всеми рядовыми зэками. Теперь мне не надо за ужином держать свою миску на столе обеими руками, охватив её плотно, придвинув под самый подбородок, чтобы кто сзади не изловчился и не вырвал её. Теперь я, как причиндал, как белый человек, ходил туда с котелком, и не со стороны раздачи заходил, где то и дело выскакивали сытые, с нерастраченной энергией, красномордые подручные повара и щедро угощали кого-нибудь черпаком по темечку, а заходил я со стороны кухни, в пристройку, где обслуживались бригадиры и вольнонаёмные. Тут полностью исключался риск получить черпаком по голове или пинка под зад. Котелок я приносил дяде Степану и он справедливо и аккуратно разливал по двум мискам, и мы ели. Кроме супа в столовой ничего не готовилось, только суп для бригадиров готовился в особом котле. Дядя Степан молчал, сосредоточенный. Хлеба он откусывал сразу много, наполняя рот до раздувания щёк, и ложку с супом просовывал в рот так, будто этим движением помогал непрожёванной пище протолкнуться в горло. После ужина он уходил в контору закрывать наряд и оттого, как это дело у него получалось, прошибал упрямых нарядчиков или не прошибал, зависело его душевное настроение. Ночевать он приходил в сушильное помещение, где в углу, между стеной и печью, была оборудована из досок лежанка.

– Ну вот, мужикам большая пайка на эту неделю обеспечена, – сообщал он самодовольно из своего угла. – Живы будем, Толя, не помрём, не горюй.

Большая пайка – это 850 граммов. Дело не шуточное. Вопрос жизни и смерти. Такие пайки обычно выводили нарядчики только тем, кто ходил на железнодорожную станцию на погрузку леса в вагоны. Мы же последнее время ходили скалывать пешнями и ломami намерзающий лёд у водокачки и у водозабора. На этих несложных работах добыть большую

пайку – особая мудрость и ловкость бригадира.

В третьей декаде апреля низкие температуры продолжали сохраняться, снежный покров на земле если и убывал, то крайне медленно, лишь в полдень поднявшееся высоко солнце переламывало погоду. В бараках, где проживали парни-несовершеннолетки, меж тем пошла какая-то повальная эпидемия – от питания не проваренной мороженой овощью. Легендарная лагерная больница разом загрузилась под завязку. Те, кого не могли вместить в больничные палаты, оставались на нарах в своих бараках.

Всю хозбригаду кинули на это дело, то есть, часть на подмогу санитарам, а часть на захоронение умерших.

В мёрзлой земле выдалбливались могилы на вершине холма среди мелколесья. Умерших подвозили на лошадях хмурые вольнонаёмные мужики. Когда везли, то закрывали соломой, чтобы не привлекать внимание. Из зоны вывозились покойники обычно рано утром, до рассвета, когда ни прохожих, ни проезжих на дороге ещё не было, встретить и полюбопытствовать никто не мог.

Лишь сбегались поселковые собаки, да слеталось много воронья. Прогнать, шугануть собак было проще, они как-никак сохраняли в себе инстинкт послушания человеку, достаточно было погрозить им лопатой, а вот с воронами ситуация обстояла куда сложнее; испробовав человечины, они переставали бояться, обезумев. Гадкие эти птицы пикировали всей чёрной стаей. Пикировали с высоты. Не только на мёртвых пикировали, но и на живых. Галдело вороньё так, что проезжавшие в километре от холма по дороге грузовики останавливались, а водители выставляли головы из кабин. Конвойные нервничали, им-то было велено управляться с таким деликатным делом тихо, скрытно, без постороннего внимания, чтобы слух по народу не пошёл. Никто в округе не должен знать, что в лагере начался массовый мор подростков, составлявших завтрашний оплот Красной Армии и советского государства, как говорит Сталин.

Среди хоронимых прошло уже много знакомых лиц. Знакомых по прежней бригаде, по бараку. В куче подвезённой с утра обнаружился и Женя Хохол. Он, полуголый, лежал, свернувшись, мослы заострились, расписная яркая фиолетовая накладка, которой он так гордился, и которая была как географическая карта, по ней можно было изучать биографию хозяина, потеряла прежнюю выразительность на синей неживой оголённой плоти – лежал он чужой, ненужный всему миру. Лицо омолодилось, сетчатые морщины куда-то подевались, и гляделся он теперь как малолетка. А может, ему и было лет немного. Может, он и был малолетка, просто жизнь его истёрла.

Нельзя, нельзя было встретиться с глазами Хохла. Вдруг они по-прежнему засветятся весёлой иронией, острой насмешливостью!

Ай, ну разменяйте мне да сорок миллионов!..

Ай, ну да пойду я свою Сару да навещу?

Ввиду важности работ, лагерное начальство распорядилось возить нам

обед горячий непосредственно на объект. Картошка в супе, как прежде, была нечищенная, но зато промытая, и в супе её густо.

Дело наше состояло в том, чтобы до полудня управиться с захоронением тех, кого подвезли до рассвета, а после полудня до наступления вечера успеть надолбить новые ямы, потому что наступившей ночью опять будет такой же привоз щедрого урожая.

Пожилой бригадник Тимофей, старожил лагеря, говорит рассудительно:

– Оно, жись така. Кто знает, где, когда свернётся человек. До первой крапивы дотянуть – вот что надо. Кто до ранней крапивы дотягивает, значит, жить остаётся. Так всегда в зонах. Как крапива начинается, так мор исходит. Нынче-то вышло вовсе худо. Весна вишь какая. Затянулась, заблудилась в каких-то сторонах, в лесах, весна-то.

На руках у Тимофея белые, ещё неиспачканные, брезентовые верхонки, жена привезла. Он осторожно и бережно складывает рядом трупы на дне могилы, куда залазит первым. Следит, чтобы никто, никакой балабон не сбросил мертвеца сверху, а чтобы аккуратно подал ему в руки.

Ещё в бригаде отменный Онуфрин, коротышка, почти лилипут, но силой обладает могучей, лом через колено гнёт. Он успел побывать на подмосковных фронтах в качестве ездового солдата хозроты и осуждён по подозрению в сношениях с фрицами. Не то фрицы при встрече на лесной дороге угостили его сигареткой, не то он их – махоркой. Он-то, пожалуй, единственный, кто рьяно интересовался ходом событий на войне, будучи глуховатым, поднимал трюх, когда бригада проходила через ворота КПП, где висела на столбе чёрная тарелка репродуктора, и весь начинал дрожать, особенно если сводку с фронта передавал Левитан. Другие если и интересовались, то как-то вяло, будто вопрос этот не так уж существенный для всех нас.

Рослый Тимофей и коротышка Онуфрин хоть и являли собой образец психологической несовместимости, – ссора меж ними постоянная, – тем не менее, всегда они рядом – и в колонне, и в работе.

– Кажись, ветер будет, – поглядев на небо, говорит Онуфрин.

Тимофей тоже глядит на небо и говорит обратное:

– Кажись, ветра не будет.

– Понимаешь ты много, – отвечает Онуфрин.

– Ты много понимаешь, – возражает Тимофей.

Наши выходы на похоронные работы затягивались, мы-то полагали, что на три, на четыре дня нас сюда перебросили с обычных лагерных коммунально-хозяйственных работ, а вот уж пошла вторая неделя. Действовал жуткий конвейер: лагерные бараки – лагерная больница – лагерное кладбище, разместившееся на высоте широкого, поросшего мелколесьем, холма.

Длилась технология в том же порядке: ночной, под покровом темноты, по хрусткому насту, завоз «груза» на санях, прикрытых соломой, взятой



в местном колхозе; затем выход до света из зоны нашей бригады; затем размещение «груза» в наготовленные накануне могилы и рытьё новых могил. Кстати, в нарядах, которые бригадиру давались, и которые дядя Степан заполнял, так и значилось: «груз». Конвойные тоже называли: «груз». А сам факт захоронения назывался словом «размещение».

Так как бригада была поделена на звенья, и каждое звено исполняло своё дело на своём отведённом ему квадрате кладбищенского холма, то никто из нас не мог знать, каков счёт печальной жатвы, наступившей в результате выше уже сказанной причины.

Вороньё с каждым днём становилось нахальнее и безрассуднее. Одна старая неряшливая чёрная птица, возмущённая тем, что мы её отогнали, взмыла вверх и оттуда спикировала прямо на голову Тимофея, при этом горбатый её клюв был раскрыт, а в лиловом рту острым жалом дёргался треуголок белого устрашающего языка.

– Кыш, сатанинская сила! – отбивался не на шутку испуганный Тимофей лопатой. – Кыш, наваждение!

А ведь и верно, сатанинская, подумал я.

Онуфрин подбежал на выручку также с лопатой и подпрыгнув на своих коротких ножках, изловчился ударить птицу, отчего та испустила дух. Этот факт послужил экам на некоторое время психологической разрядкой, а для сатанинских птиц – шоковым моментом. Всё вороньё всей стаей отлетело и в этот день не возвращалось. Вороньё, это, по выражению Тимофея, бесово стадо, очень удивило своим умением приспосабливаться к обстоятельствам. Оно исхитрилось и стало налетать на холм ещё до нашего прихода, то есть, ещё по темноте. Поняли вороны, что с того часа, как тут появляются возчики, и до того часа, как появляемся мы, никого здесь нет, кроме шалых собак, лишь ветер истоиво свистит, разметывая пучками брошенную солому. А раз никого нет, значит, устраивай пир.

Мы всходили на холм с южного склона, и на сине-тёмном небе ещё держались россыпи звёзд во главе с Полярной звездой, а на фоне едва светлеющего неба – колья-столбики, торчащие вместо крестов, и на каждом колу по чёрной жирной птице сидело. Жуть какая!

Тупеет рассудок, когда среди «груза» узнаёшь знакомых. Вот Селезнёв, он вместе с тобой пришёл по этапу. Вот Ваня Метёлкин, вместе с тобой ходивший на разборку стылых капустных кочанов в поле. Слезы не удержались в моих глазах, так и брызнули, когда увидел я Тарана Махмудова, его нельзя было не распознать в этой «поленнице» покойников, он, всегда отличавшийся южной смуглостью, в неживом состоянии сделался угольным, не помогли ему посылки с сушёными яблоками, присылаемые многочисленной роднёй из далёкого аула.

Очень я боялся увидеть тут и Мишу Савицкого. Я уже знал, что Миша из барака препровождён в больницу, пробовал сходить к нему, но вокруг больничного барака ходил охранник с овчаркой. Эпидемия дизентерии свирепствовала.

И вот я увидел...

Я отвёл взгляд, верить не хотелось.

Блекло-русые волосы на бумажно-белом затылке. Он лежал в куче тел вниз лицом, отвернувшись от всего мира. Его ноги были прижаты другим «грузом», и чтобы высвободить, потребовалось перекаладывать других.

В этом мне помог Тимофей.

– Что? – догадавшись, спросил мужик.

Я не ответил. Подошёл Онуфрин, оставив лопату, он также стал помогать мне высвобождать Мишу из кучи. Остатки порванного домашнего белья раздувал и трепал ветер.

Могилку, в которую был опущен Миша – а в каждую опускали не меньше, чем пятерых, я обозначил столбиком потолще, хорошо ошкурил его лопатой – другие же столбики не ошкуриваются вовсе, они пилятся в зоне – приладил к нему перекаладину-щепку так, что вышел натуральный крестик. Хотя делать кресты указаний бригаде не было, наоборот, указание бригадиру дяде Степану было – не делать. Дядя Степан заметил моё старание, но сделал вид, что не заметил.

Поздно вечером дядя Степан, придя из нарядной, где он, как обычно, отстаивал перед нарядчиками высокую бригаде хлебную пайку, а скряжистые нарядчики, как обычно, хотят урезать хлебную пайку, лежал в сушилке в своём тёмном закутке на топчане, говорил осевшим прерывистым голосом:

– Они-то, нарядчики, тоже не сволочи, нет. У них не свой интерес, а указание есть: экономить хлеб бойцам на фронте. Нам вот с тобой хоть что-то человеческое перепадает, под крышей спим, а они-то под небом, на открытой земле. Я бы пошёл туда, да рука калечена, не берут. Здесь воюю... с нарядчиками, хо-хо.

– Но теперь не надо будет урезать. Сэкономят. Вон сколько пацанов закопали. Кормить их теперь не надо. Экономия! – прорвало меня.

– Э-э, Толя. Э-э... – дядя Степан даже поднялся плечами, чтобы видеть меня во мраке среди сушащейся направшей обуви. – Выкинь такие подсчёты из головы, выкинь. Очень худо жить человеку, когда он поддаётся настроению такому. Получается тупик. Вот ты нагяделся на блатяков разных, на урок. В тупике живут, в зоне или на свободе – одинаковый тупик. Злостью сердце обожгли, мозг сдвинулся. Вот, чтобы мозг не сдвинулся, не воспаляй его непосильными мыслями. А ты, вижу, пробуешь мыслить непосильно.

И насчёт креста на могилке... Крест он не снаружи – в душе. Понять надо.

Я вот тоже порой непосильно берусь думать и творить. Оттого и попал сюда... Мы, русские, отходчивы, но когда припрёт, звереем сильно. Немец, думаю, не такой. Оттого мы его побьём. Это правда – побьём. Против нашего народа никакая другая нация не выдерживает.

Я, плача в подложенный под щёку чей-то сырой обуюток, от горя и жалости к потерянному другу Мише, плача, не слушал дядю Степана. Зачем о нации мне, о норове, когда я похоронил друга Мишу, славного

Мишу, который так нежно ко мне тянулся и к которому я по-родственному тянулся. Зачем всё остальное мне.

Копаем новые ямы-могилы в стылой земле. Лом звенит в неподатливом грунте. Когда камень попадёт, так и вовсе звенит. Натыкаемся чуть ли не сплошь на прошлых лет захоронения: то с одного борта из глинистого слоя скелет какой своей частью высунется, то с другого борта.

А назавтра... Что будет завтра? Доживём – увидим.

## НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

В середине июня я получил письмо от Эры (мама, конечно, не утерпела и сказала ей адрес и правильно, что не утерпела), писала Эра, что плачет обо мне, ходит каждый день к нам, и вместе с мамой сидят перед геранью и плачут обо мне. Цветок герань на подоконнике стоит, мама ещё из деревни его привезла в дырявом чугушке, он, говорят, от горя помогает. Описала Эра, что ждёт меня и ждать будет, если даже потребуется, всю жизнь (вот глупая, с чего это ей взбрело, что я могу тут в зонах болтаться всю жизнь), никто ей из мальчишек не интересен. Такой захлёб, такое девичье признание укрепило мой дух, стократно усилило мою волю. Я почувствовал, да уж не знаю, что я почувствовал. Ответственность мужская за маму, за сестрёнку Раю, за любимую Эру во мне обострилась, я сжал кулаки и дерзко глядел на конвоиров.

А вскоре пришло очередное письмо от мамы. Мама писала, что в школе на улице Кропоткина разместили госпиталь, и когда привозят с фронта новых раненых, она ходит туда, и смотрит, нет ли среди них Васи, от которого нет никаких вестей. Одна женщина, которая живёт возле водокачки, нашла в госпитале своего безрукого брата, так теперь все ходят и надеются.

На улице Кропоткина наша семья живёт недавно. До этого, переехав из посёлка Никольский Кольванского района, мы снимали комнату на другой улице, на Гоголя, в доме отца брата Устина, инженера кирпичного завода. Мама что-то не поладила с золовкой, и мы стали жить в маленьком засыпном домике маминой сестры тётки Матрёны.

Мама ещё писала, как только созреют помидоры в тётки Мотином огороде, она приедет ко мне на свидание вместе с Эрой, которая не отстанет. Я настроился ждать. С нетерпением, конечно. С жутким нетерпением.

А в июне, когда наступила жаркая погода, меня вызвали на этап.

Ох, совсем некстати! Ведь Эра сюда приедет. Этап в Томскую детскую колонию. Это аж вон где!

Под усиленным конвоем – впереди овчарка ростом с телёнка, позади такой же кобелина – на железную станцию колонну повели сразу после

утреннего развода. Посадили на землю у насыпи и стали выкликать по-фамильно.

– Зябрев! – услышал я.

По одному подходили к дощатому настилу, где были мешки. Будущие колонисты получали дорожное продуктовое довольствие на трое суток вперёд. Я, как и другие, подставил подол рубахи. Толстый дядька в синем халате весело вбросил мне в подол буханку хлеба, ржавую бурую селёдку с раздавленной головой и выдавленными жабрами, сверху всыпал три ложки сахара и сюда же кинул три жёлтые таблетки.

Большинство предприняло попытку управиться с этим богатством сразу. Я же поберёг. Ограничился лишь сахаром и третьей частью булки хлеба. Селёдку же, завернув в молодой лист лопуха, сорванный у гравийной насыпи, сунул в карман, а таблетки, испробовав на язык – оказались горше горчицы – выбросил в траву. Говорили, что эти жёлтые таблетки нам дадены для профилактики дизентерии. Ну да, кто-то добровольно станет глотать их – все и побросали в траву. Весенний урок никого ничему не научил.

Возникла проблема, как уберечь то, что у меня осталось. Из кармана селёдку, конечно, запросто выдернут, едва повернёшься, а хлеб, спрятанный под рубахой, запросто вышибут кулаком. Так я сидел на корточках, поджавшись. Жарко пекло сверху солнце. Вагоны ещё не поступили.

После сахара и хлеба, съеденных всухую, стягивало язык и губы, нечем было промочить рот.

Рядом со мной сидел пацан – с ним я в лагере не был знаком – корчился он от болей в брюхе, куда засадил он весь трёхдневный паёк, не жуя. Глаза его выражали нестерпимую муку, зывали к сочувствию.

– Как тебя звать? – спросил он.

– А тебя? – спросил я.

– Пашка, – отвечал пацан с надеждой, что я ему как-то помогу в его физиологических сложностях.

Мне же не до проявления сочувствий. Я думал о своём. Я думал: если я не доем, не прикончу свой паёк, его непременно сопрут, не сейчас, так при посадке в вагон, не при посадке, так в вагоне – шакальё вон зыркает. А если доем, то буду вот так же, как Пашка, корчиться, выкатывать глаза. Хоть туда, хоть сюда – выбора нет. Оно, конечно, второй вариант лучше: тяжело будет, зато не обидно, знать буду, что сам потребил.

Подъехала лагерная администрация. Объявили: построиться. Я, поджимая левой рукой карман с селёдкой, правой же рукой удерживал хлеб на брюхе под рубахой – к спине у меня было привязано кое-что из вещей, в том числе и старые, с воли, ботинки на деревянной подошве – сунулся в ближнюю шеренгу и замер, насторожившись бдительно.

Конвоиры пересчитали по рядам. Высокое, в зените, солнце, и прежде нестерпимо палившее, теперь остервенело. Ломило голову в затылке. Я пытался защититься от солнца сорванным листом лопуха. По лицу, по губам текли солёные ручьи.

Я давно приметил, что в жаркий день, когда очень печёт солнце, вянут и сворачиваются листья вдоль дороги, по канавам, на лопухах, делаясь из зелёных серыми, но сворачиваются они, оказывается, не просто, не сами по себе, а по какому-то своему внутреннему порядку: каждый листок стремится ближе подтянуться к стеблю и защитить собой от губельного солнцепёка стебель, а уж те, какие могут дотянуться до плодиков, они и вовсе обворачивают собой плодики. Вот ведь чудо какое. Как бы без разумной мысли здесь никак не обходится. Такое явление я, помню, примечал, когда ещё жил в деревне, когда в жару в дальнем углу двора репей прикрывал, словно ладонями, свои готовящиеся фиолетово-ало распуститься головки с зарождающимися семенами.

В первой шеренге упал парнишка, его не сразу заметили конвойные. Парнишка лежал на земле, хотя рядом с ним находящиеся пацаны кричали и показывали. Я опасался, что и у меня сделается солнечный удар и из носа пойдёт кровь. Это случилось в зоне. Пашка, стоявший в шеренге за мной, страдал тем, что его тянуло на рвоту, но рвота не получалась, так как пайку трёхсуточную он потребил без капли воды, всухую, и не из чего было братья рвоте. Впрочем, эти же проблемы обнаружались и у других, кто пожадничал и поступил, с их точки зрения, благоразумно: умяли весь продукт, какой дали.

Крики, выражающие требование воды, не принесли результатов. Было объявлено, что вода будет в вагонах. А вагонов ещё не было на горизонте. Далеко, в знойной дымке, слабо прорисовывался трагически памятный холм. Там теперь было зелено, всех, кто навсегда остался там, покрывали курчавые берёзы. Я не представлял, узнала ли Мишина мама о трагедии, приезжала ли она, и если приезжала, то, что ей было официально сказано. Разницы, однако, никакой. Миша был похож на меня: он также, как и я, очень переживал при мысли о том, что какой-то его поступок может принести матери горе. Это его, как и меня, жутко угнетало – он жил с ощущением вины перед матерью за то, что они там, дома, в постоянном волнении и беспокойстве за него, находящегося здесь, за сотни километров, за лесами, реками и холмами. Один вот он тут. Не самый ближний холм стал его вечным домом, где мать уж никогда не отыщет его среди похожих один на другой столбиков, и никогда уже не сможет лечь рядом с ним. Что может быть страшнее, ужаснее для матери, любящей сына, и по нему тоскующей, и для сына, любящего мать, по ней тоскующего, что даже после смерти не можешь лечь рядом.

Наконец-то появились вагоны. Состав катил задом, буферами, отражающими солнце, вперёд, на подножке стоял кондуктор с красным флажком в поднятой руке. Конвойные сошли на край насыпи, напряглись, перекладывая из руки в руку оружие, их беспокойство и настороженность передались овчаркам, которые подобрали красные свои языки, вытянули хвосты и заострили морды, внюхивались в перегретый воздух.

Вагоны были, как их называют, телячьими, когда-то крашенные

суриком, но краска давно сошла, обнажив тёмно-грязную исподню, полностью закрытые железными решётками. И с боков, и снизу, и сверху – всё зарешёчено прогретым горячим металлом. От такого вида сделалось ещё более томительно: звери мы хищные, будто, что ли?

У каждого вагона по два конвоира. Подножка нависает высоко, на неё надо впрыгивать. Тут у меня произошла беда: сберегаемый под рубахой хлеб вдруг выпал, я метнулся за ним под вагон, меня жёсткая рука дюжего охранника тотчас ухватила за шиворот, другой охранник поддал сапогом снизу и я влетел в тамбур подобно футбольному мячу.

– Дак пайка там... упала! – жалобно завопил я.

Услышан мой вопль, однако, не был. «Эх, надо было бы так же, как умный Пашка – съесть», – подумал я.

В полусумрачной утробе вагона я побежал захватывать удобное место на тройных нарах.

Пашка продолжал мучиться вспученным брюхом и икал. Теперь-то я уж точно завидовал ему: у него-то ни крошечки зря не пропало из трёхдневного пайка, а у меня вон больше чем полбуханки – псу под хвост. Я пощупал левый карман штанов: слава Богу, хоть селёдка цела, никто не выдернул.

Состав однако, не трогался. Он простоял ещё сутки, прежде чем пойти. Ждали дополнительных этапников из лагеря. В окно было видно – привели, наконец-то. Но не мужчин, а девчат. Может, сто, может больше. Девчата, спасаясь от жары, повязали головы платками, а с тела снимали всё, что можно снять. На иных ни кофточек, ни лифчиков.

– К нам их сейчас посадят, биксушек таких-то. Вот уж устроим карусель!

– Не ты устроишь, а они тебе устроят.

Духота и стеснённость не располагали к весёлому трёпу, тем не менее, пацанва принялась, как и полагается, скаберзно обсуждать, что бы сейчас было, если бы девчонок к нам в вагон подали.

А девчонки, видя, что на них пялятся оравой через решётку, строили масляные глазки и всякие фигуры. Рёбра снаружи, цыпушки общипанные.

С бесстыдством лагерных девчонок-малолеток, обзываемых биксами, биксушками, биксоманками, я столкнулся ещё в первые дни жизни в зоне.

Я уже говорил, что лагерь поделён на части, как бы на отдельные дворы.

Мужская взрослая часть, женская взрослая часть, мужская несовершеннолетка и женская несовершеннолетка. Ясно, общая зона обставлена по периметру охранными вышками, и приближение зэка к изгороди на полста шагов уже вызывает тревогу, но к внутренним изгородям можно подойти чуть ли не вплотную и трепаться с человеком смежной зоны сколько охота. Мой путь из сушилки в столовку и из столовки в сушилку пролегал как раз вдоль проволоочно-сетчатой изгороди, за которой обитали девчонки в бараках. Они, эти

биксы-пигалицы, бродили по двору стайками, не знаю, их заставляли работать или не заставляли, делали они какую полезную работу или не делали – на них были, как и на мне, ботинки с деревянными подошвами, которыми они тяжело бухали по земле. «Эй, мальчик, любить хочешь?» – кричали они с весёлым хохотом и задирали подол до самого пупка.

Кстати, нашей бригаде, занимающейся ритуальными делами, ни разу за всю весну не попался в куче свозимых на погребальный холм покойников женский труп. Слабый пол, выходит, много выносливее сильного пола.

Провели девичью колонну мимо нашего вагона. Посадили их, кажется, где-то ближе к голове состава.

Новосибирск проехали ночью. Я смотрел в окно. В городе никаких огней. Улицы не освещались по понятной причине: гитлеровские самолёты могли сюда залететь через север, чтобы разбомбить военные заводы.

Что сейчас делает мама? Спит или сидит перед иконкой и думает обо мне и о Васе, который где-то на фронте. А может, об отце. Тятюку как забрали в 37-м, так не было ни одного письма. Мама ездила куда-то узнавать, её предупредили: уходи, колхозница, если будешь мельтешить, и тебе быть там же, как пособнице. Мама, в отличие от своей старшей сестры тётки Матрёны, не умеет молиться, она, когда ей тяжело, садится в углу перед маленьким, полувзвешенным кружевной шторкой, иконостасом, и сидит молча. Тётя Матрёна же бьёт об пол поклоны, повязав голову чёрным платком – у неё сын тоже на фронте, и муж, дядя Григорий, год назад умер. Когда дядя Григорий жил ещё в деревне Никольск, его понуждали войти в колхоз, урезали его единоличный огород, отобрали одну из двух лошадей, он не сдавался, пахал оставшуюся землю одной лошастью, когда же уполномоченный и комбедчики свели с его двора и корову, реквизировали натканый холст и что-то ещё забрали, обещав на следующее утро прийти за последней лошастью, он усадил семью в телегу и тайно, ночью, бросив обжитую избу, переехал за семьдесят километров в город, где поселился без прописки. В городе пожить ему долго не довелось – заболел от тоски, умер. Мама и тётя Матрёна – родные сёстры, а такие разные. Мама широколицая, белокожая, в серо-зелёных глазах её, когда ей хорошо, всегда смешинка прыгает, а у тётки Матрёны лицо узкое, вытянутое, арабское, очень смуглое, тёмные большие глаза не улыбочивы, всегда скорбно-печальны. Тётя Матрёна – добрейшая, но очень скупая, что, в общем-то, объяснимо: живя в тяжких трудах, никогда не знала она достатка. Завтрашний день ей виделся чернее настоящего и она норовила сберечь впрок каждую горсть муки, каждый рубль. Деньги завязывала в узелок и рассовывала в доме по разным укромным местам и забывала об этом, чем я, грешный сорванец, пользовался.

Тётю Матрёну я больше не увижу, она умрёт от сердечного приступа до моего возвращения, а моё возвращение отодвинется на долгие годы (к годам зэковским прибавятся годы армейские), и я не смогу повиниться

перед добрейшей тётёй Мотей за своё паскудство – как же, брать у пожилого человека скопленные рубли и копейки – что может быть гнуснее?

По прибытию в колонию началась немощь, противоположная «дресне». Запоры охватили этапный контингент чуть ли не на сто процентов. Расплата жадности, понудившей пацанов сожрать, умять, утрамбовать трёхсуточный сухпаёк за один весёлый присест. Это, оказывается, совсем не шутка, когда вот так-то. Санитары и старуха-докторша (она оказалась шустрой, хотя и горбатой) носились из корпуса в корпус, попевая вкачивать в тощие задницы ноющим и скулящим мыльные клизмы. Через боль кто-то спрашивал:

– А что, доктор, у «петухов» такого не случается?

– У всех случается, детка, у всех, когда нарушение творите, – всерьёз, озабоченно отвечала бабка.

– Ишь ведь что. Я-то думал, «петухом» заделаюсь, прочистят проход и всякая пища потом без задержки целиком вылетать будет, как в трубу.

Смеяться над такими шутками находилось мало кого. У половины состава к тому же обострились в брюхе сторонние болезни. Карантин был продлён ещё на пару недель при кормёжке крапивными супами. Вот паскудство какое! Никаких каш при этом, и хлеба всего в полладошку. После та же бабка-докторша выявила, что крапивная баланда крепит брюхо, её потреблять надо от поноса, а не наоборот, прописала варить свекольную зелень. Ха! Где набраться свекольной зелени на тысячу ртов.

Колония находилась на окраине Томска, за рекой, так что виделся весь город. Многоэтажные дома, представилось мне, совсем не густо, не так, как в Новосибирске, и высоких труб тоже меньше, их я насчитал всего около двух десятков, которые запускают в небо толстые верёвки дыма. Сразу за рекой поднималась белая каланча, окружённая зеленью тополей. Нестерпимо манило на городские улицы, всех колонистов манило, вот вознестись бы над забором, сделавшись листком тополя, незамеченным на охранных вышках, и полететь с попутным ветром.

– Что, Пашка, как настроение? Сильно хочется сбежать? – спрашиваю.

– Сильно. Аж в голове туманит, – отвечает Пашка и казанками пальцев трёт себе глаза.

Дальше молчим, больше сказать нечего. Иного выхода у нас нет, кроме как подчиниться судьбе и соблюдать режим.

Главная зона делилась на зону девчоночьё и зону мальчишечьё, но на работы водили в одно место – на кожфабрику. Промышленный этот объект состоял из нескольких некрупных грязных строений с низкими, у самой земли, решётчатыми окнами. Шили мы меховые тапочки. Никогда я таким делом не занимался. Научился. Обучала всех вольнонаёмная Дуся, казавшаяся пацанам тогда старой, хотя было ей лет двадцать пять, а то и меньше. Она ещё в первые месяцы войны получила с фронта на мужа похоронку, успела выплакаться и теперь с острым бабьим интересом оглядывала пацанов, и не



только оглядывала, но и ощупывала и щекотала, отдавая предпочтение тем, какие постарше и покрупнее костью. Я же ни в росте, ни в плечах не вышел, и оттого Дуся не задерживала на мне своих карих тоскующих глаз, я был для неё рабсидой, учеником, между прочим учеником не совсем уж бездарным.

Раскрой овчинного лоскута производил Федя Брулюк, по прозвищу Бруль, рукастый, толстогубый угрюмый парень, он до заключения работал с отцом в скорняжной мастерской, дело своё знал. Ловким движением руки выбрасывал лоскут на верстак и сразу же, едва лоскут распростирался во весь свой объём, он тут же кидал на него лекало и правой рукой, зажавши в пальцах раскройный нож, виртуозно вырезал подошву. Затем выкраивал боковые половинки, т.е. щёчки и заднички. В отходы из лоскута уходило минимум.

– Гарный хлопец. Ось, який гарный, – хвалила Дуся, останавливаясь за спиной Бруля.

У Феди Бруля пагубная слабость была, когда не занимался он раскромом, то левая рука его была постоянно в кармане штанов, где он мял свой толстый початок. Дуся не могла не приметить такую привычку парня и, прилепляясь глазами, краснела по уши, вызывая хохот у наблюдательных пацанов.

Дело на фабрике шло сплошным конвейером. В смежном корпусе производилась выделка шкур, там работали бригады из взрослого мужского лагеря. Одни шкуры превращались в кожу, другие – в овчину. К нам лоскут поступал на тележке из смежного цеха, где вольнонаёмные женщины шили белые фронтальные полушубки, которые так и назывались: «фронтówki».

Для кого шили мы тёплые меховые тапочки, нам объяснили – для госпиталя раненым.

Я истосковался по цеховому производству и набросился на такую работу с жадностью, с азартом. Дуся хвалила и меня:

– Ось, який ты гарный парубок, – Дуся была эвакуирована с далёкой Украины, её городок с первых недель войны оказался под немцами.

Мастер записывал на доску, кто сколько произвёл. Норма дневная на пошиве: пять пар. До обеда три пары и после обеда две. Это за пайку в шестьсот граммов. Не справился с нормой – пятьсот граммов. За шесть пар – семьсот граммов.

На норму мне удалось выйти на третий или на четвёртый день обучения. Приятно тут было всё: терпкий запах просмоленной дратвы, кисловатый дух кожаного лоскута и, конечно, Дусин хвалебный говорок.

Сидя на низких табуретках, пацаны ревниво глядели друг на друга: как бы не отстать от других. Кто-нибудь объявлял показательное состязание: одновременно брали с верстака заготовку, инструмент, оснастку и под звонкую команду: «Начали!» – приступали к шитью. Дратва свистела, руки мелькали. Полная сосредоточенность. Тут уж не до разговоров, не до трёпа. Только сопение. Пошло-поехало! Забывалось в такие моменты, что ты зэк, что за окном часовой с винтарём тебя караулит, высунулся за

провода – пуля прилетит.

Вот настала ответственной минута. Кто-то наиболее сноровистый демонстративно и торжественно первым шлёпал подошвой тапочка по верстаку и восклицал: «Готово!»

Приходилось и мне быть первым изредка. Ни с чем несравнимое состояние. Вот последний затяг дратвы. Обрезание ножом дратвы. А руки трясутся. Всего лихорадит. Потому что в этот самый последний момент кто-то может – тебя – опередить. А уж когда выдёргиваешь из внутренностей тапочка колодку, то и совсем бить дрожью начинает. До победы-то секунды остались! Надо успеть хлопнуть готовой продукцией по верстаку. Хлопнул – тут уж всё в порядке. Тут уж ты в фаворе. Успокойся. Но успокоиться ещё не можешь. Инерция соревновательного азарта в твоём теле остаётся. И кто-то секундами позднее тоже кричит:

– И у меня готово!

Но бывает (и чаще), когда кто-то секундой (одной лишь секундой) раньше тебя кричит: готово! И хлопает тапочком по верстаку. Обидно. Но... Кто это кричит? Да ведь Пашка, дружок мой, паршивец! Ну, даёт! Дуся подбегает к нему: «Ось, гарный хлопец, гарный!» Голос у Дуси мягкий и улыбка у неё мягкая, и вся она какая-то мягкая, обволакивающая. Вот сейчас Пашку тискает, вжимает в себя. Однажды она приснилась мне во сне: будто я весь голый, а она просунула руку ко мне сзади и за самое такое место набухшее взялась и держится... После этого я стеснялся на неё глазеть, целый день не глядел, мне казалось, что она тоже видела такой сон, и всё, всё знает.

А потом я случайно заглянул в кладовку, где хранились лоскуты, и куда Федя Бруль ходил получать эти самые лоскуты для раскройки. Лоскутами, как и всеми заготовками, ведала Дуся. Готовой же продукцией ведал мастер, тоже вольнонаёмный, инвалид, его кладовка была в другом конце цеха. Так вот, когда я случайно открыл дверь Дусиной кладовки, то увидел в куче меховых лоскутов свою наставницу Дусю, она сидела в странной позе, с болезненно открытым ртом.

Я решил, что с ней стряслось что-то неладное, помочь надо, и мастера кликнуть. Однако разглядел, фу... стыдно. В полумраке Федя Бруль лежал навзничь, а Дуся как раз сидела на нём...

Шокированный и пристыженный, я прибежал на своё рабочее место, взял табуретку и пересел на другую сторону верстака, дальше от рабочего места Дуси.

Я возненавидел жопастую Дусю. Я возненавидел толстогубого Бруля.

Я презирал себя!

Так же когда-то разрушилось моё трепетно-сыновье отношение к дяде Степану. И вышло-то как. Точно: один к одному почти.

В сушилку заходила женщина по имени Тоня, маленькая, похожая на курочку, она разувалась, ставила на печь свои пимы и сидела, ждала,

пока они подсохнут. Иногда она не дожидалась, уходила в какой-нибудь другой обувке, а утром приходила за сухими пимами. Приходила задолго до развода. Она была расконвоированная, могла ходить по всей большой зоне, ходила свободно и за зону, такой был для неё режим. Носила из городского отделения почту. Тоня проявила ко мне доброту своего мягкого сердца, я тянулся к ней, тем более, что она была из Кольванского района, в каком я жил с мамой и со всей нашей семьёй до переезда в город Новосибирск. Садилась на угол печи и, подобрав босые ноги, что-нибудь рассказывала из происшествий. А происшествий ведь в зоне много, разные они, не только печальные, а и забавные. Пошёл один зэк в столовую дрова колоть. Повар говорит: вот десять чурок расколешь – супу налью. И отобрал из кучи самых суковатых чурок, а сам ушёл. Зэк сообразил, тут же положил суковатые в кучу, а вместо них взял гладкие и расколол быстро. «Готово», – докладывает повару. Повар, как и обещал, налил супу и ещё хлеба кусочек прибавил за старание. На другой вечер зэк опять приходит, повар опять выбирает ему суковатые чурки, а зэк также хитрит и получает суп с кусочком хлеба. На какой-то день повар обнаружил, что суковатые чурки не убывают, как были целые, так и есть, и решил наказать наглеца, а наглец-то больше не появился, не дурачок же он.

Рассказывая этот курьёз, Тоня так заразительно смеялась, что и мне становилось смешно, хотя сама история не показалась мне смешной, больше грустной. Или о том, как один зэк добыл у вольняшки спичечный коробок соли, в бараке на соль выменял три коробка табаку, на табак выменял штаны, надел их, лёг в них спать, а утром хватъ, штанов-то на нём и нет – стащили с сонного. Или же вот про то, как в зоне оказались семеро Поповых и все Иваны Фёдорычи. Объявление даётся: к оперу явиться одному, а приходят семеро. Режим нарушил один, а в кандей сажают всех семерых. Намучилось начальство с ними, пока не разогнало их по этапам. Хе-хе.

Дядя Степан, как обычно, задерживался в нарядной. Когда же приходил, она, как-то став угловатой, торопливо, смущённо начинала собираться на выход, дядя Степан шёл провожать её.

В тот поздний вечер я, намёрзшись на работе, устал, клонился ко сну и заснул, когда Тоня ещё не ушла, а только собиралась, надевала пимы и разговаривала с дядей Степаном. Разговаривали они о последних лагерных новостях: о групповом побеге зэков из железнодорожной погрузочно разгрузочной бригады, о зажимистых нарядчиках, о хозработках, к которым Тоня имела прямое отношение. Пробудился я от звуков, будто кто за окном мягко пилил. Кто бы мог среди ночи устроиться за окном пилить? – наострился я. А может, подкоп делают урки для побега из соседнего барака, и под землёй их работу так слышно? Но нет, звуки не из-за окна, а с правой стороны, из-за печи. Я приподнял голову, лунная полоса через узкую прорезь окна ложилась и стекала вниз бледно-жёлтыми подтёками. На узком топчане, между стеной и печью, были дядя Степан и моя подружка

Тоня. Стыдные звуки продолжались так долго, и они были так нестерпимо проникающими, что не помогал и толстый пим, которым я заложил своё ухо, крепко придавив голову к подушке. Всё моё тело объялось пламенем, как берёзовое неоскуренное полено в печи, поллюция случилась сама собой, выплеснулось из меня, дурака, наверное, море, и я потом весь день на работах маялся от неудобства, так как взявшиеся сухой коркой подштанники тёрли промежье.

Всё! Дядя Степан для меня уже перестал существовать. Хотя я оставался в сушилке, не вернулся в общий барак, бегал услужливо на кухню за бригадирскими обедами и ужинами, хлебал часто из одной с ним посуды, топил печь, стерёг бригадную обувь, оставался таким же послушным и прилежно-исполнительным, но в моих отношениях к дяде Степану уже ничего не было того, что было раньше. Я уже замечал, что у него рот кривой, и нос в порах, как в чёрных дырах, и один глаз всегда набухает противным гноем. Тоня приходила и садилась курочкой на печь, поджавши босые ноги, но разговаривать с ней, внимать ей я уже не мог. Брезговал. В ней вдруг обнаружились ужасные недостатки, во-первых, она не курочка, а утка с тяжёлым задом, и ходит как утка, переваливая из стороны в сторону свой зад, во-вторых, носик её, облупившийся от прошедших зимних морозов, уже не казался аккуратным, и подбородок маленький, прежде напоминавший мне подбородок моей Эры, теперь уже не был похож на подбородок самой хорошей в свете девчонки, а был противный подбородок, да и вообще дико предположить, что эта вот нелепая утка хоть какой-то своей частью, хоть отдалённо может походить на Эру!

Вот так и Дуся, разом обернувшись в презренную бабу... Она хваталась судорожно за Федины бока, как бы опасалась, что этот крепыш Федя, наш бригадный закройщик, до времени вырвется. Федя-то и не думал вырываться, нравилось ему, видать это. После он повадился на дно по два-три раза улизнуть в кладовочку, так и норовил улизнуть, где ему перепало что-нибудь вкусненькое из домашней еды. Как-то он даже кусок пирожка клубничного отломил мне.

– Ешь. Жить, браток, можно, когда башка есть.

Не знаю, какую свою башку Бруль имел ввиду, ту, какая на плечах или ту, какая в другом месте.

Дуся, надо сказать правду, и не заметила моего к ней резкого отчуждения, как в своё время и дядя Степан не заметил. Она, осуществляющая контроль за качеством шитья, проходила вдоль одной стороны верстака и вдоль другой, останавливалась позади меня, над моим затылком, глядела на мою работу, а потом, наклонившись так, что упругая грудь её тёрлась о мой затылок или о мою щеку, и она произносила мягко, нутряно, своё прежнее: «Ось, гарно, славный хлопец». Я решительно отодвигал свою голову, чтобы не ощущать её прикосновений, фыркал, она и этой демонстрации моего презрения не замечала, голос её оставался ровным, мягко-утробным: «Ось,

хай тебе добра дивчина привидится». Да уж привиделась один раз! Хватит! Мои щёки горели от того сна, когда она, беспутная, привиделась. Дура!

И останется это у меня на всю жизнь – нетерпение, неприятие женского распутства. Я никогда не смогу понять женской породы. Никогда не приму очевидной истины, что распутство в генах есть у всех женщин. У всех! Что-то подобное говорил Лев Николаевич Толстой. На этом будут основаны мои драмы – на неумении глядеть на жизнь, на взаимоотношения полов проще, легкомысленнее, как того окружающий мир заслуживает. Например, девчонка, с какой я задружу, состроит кому-то из моих приятелей или неприятелей глазки – она уже обрубленный сучок для меня. Сучок уже не может прирасти и я уже не могу прирастить его с помощью пластырей и разных садоводческих хитростей, нет, не в моих это силах. Меня будут корить девчонки, женщины, что слишком ревнив, чересчур ревнив, нестерпимо ревнив, что так нельзя, и прочее, прочее говорить будут, злясь и ответно презирая меня за мелочность и занудство. Ревнив, ревнив, ревнив, ревнив? Но я же не ревнив, нет! Ревнуют, когда боятся отдаления женщины и даже когда это случится, то есть, когда она уже отдалится, огненно жаждут вернуть её. Я же почти никогда не стану (почему-то) бояться, я наоборот, буду неосознанно провоцировать и ждать отдаления и уж тем более не буду хотеть заново прирастания обломившейся ветки. Не смогу себя приучить к лёгким, где-нибудь в пути, мимолётным флиртам, мне обязательно подавай обстоятельства, при которых я бы мог вобрать, вдохнуть в себя женщину вместе с чем-то тем духовным, чего, может (и наверняка!) в ней и нет, а это таинство с первого дня не делается, и ой как будут для меня бедными казаться (с одной-то стороны, а с другой – наоборот) мои дружки на улице, которые в каких-то надуманных таинствах не нуждаются, не испытывают в этом нравственной потребности, неистребимый девиз которых: «Всякую пяль...» Вот такая философия усложнит мне, дураку необразованному, жизнь.

Да что это я настроился на такую идиотскую исповедь, когда повода-то и нет. Что, Дуся, что ли повод? Или Тоня? Хо! Обхохотаться можно. Эти уродливые коровы!

Странно то, что Эра всё меньше входит в мою беспутную голову, я о ней всё реже думаю, иногда за весь день не вспомню.

Перекинусь на десять лет вперёд, когда я обрету свободу и когда отслужу армейскую положенную лямку и вернусь в Новосибирск, домой, когда Эра, этот светлый лепесток, унесённый ветром, станет лишь трагически-грустным воспоминанием, мама, наивная и святая мама, подготовит для младшего сына невесту, девушку моего возраста, по имени Катя, скромную труженицу завода, и станет придумывать способы, как меня с ней свести, чтобы были крепкие и надёжные внуки. Не свела – я слишком истомился в жажде свободы и рвал всякую сбрую, хитро набрасываемую на мою холку, на мою вздыбленную гриву. Девушка Катя, немного пострадав, выйдет за какого-то вдовца, а я, как застоявшийся в тесном пригоне жеребец, стану

рыскать по ребячье-девичьим компашкам, познавая не столько забытый многоцветный мир, сколько себя, неотёсанного, отставшего от сверстников на целых десять лет в этом мире. Это тогда я пойму, что я не такой, как все, что я «чеканутый», как скажут мои незаморенные дружки, заводские ребята, работяги. Я глубоко оскорблюсь, когда мне предложат на вечере поменяться подружками, парни будут надо мной ржать, чего, дескать, тут особенного, обменяемся на часок и всё, и моя подружка тоже будет смеяться, хотя при этом станет притворно отмахиваться узкими ладошками, деланно краснеть и называть парней дураками. Тогда на Обском оранжевом пляже я встречу звёздочку, которая, оказись в схожей ситуации, она не засмеялась бы. Да что там не засмеялась бы! Она не могла оказаться в такой ситуации. Потянуло меня к ней, как заблудшего в лесах путника к одиноко метнувшемуся огоньку по имени Люба. Не суждено мне будет удержаться в поле её энергетического притяжения. С ней надо было или сразу строить семью и готовить для мамы крепких физически и нравственно внуков, либо также сразу решительно отступить и проходить мимо. Я предпочёл второе (для первого я оказался слабоват духом). Однако нет, в поле притяжения звёздочки мне будет суждено остаться на всю жизнь. По ней я стану выверять себя, умалять свою дурь, чего-то стыдиться, обманутый женщинами, сбитый с толку их пошлым легкомыслием, по ней я буду строить свою мечту, свой идеал: вы, люди, живите, как хотите, а у меня вон она, на небосклоне, и я счастлив оттого...

Но Люба-то встретится только через десяток лет.

А сейчас я ещё пацан, ещё колонист...

А сейчас у меня Эра, образ которой в арестантской суетной мерзости светится чистой, ясной звездой. Но является в мою глупую голову она в последнее время почему-то всё реже, как я уже сказал. Она как бы отторгается, необратимо дистанцируется. Ужель возможно такое несчастье?

Вести, приходившие с далекой войны, занимали нас постольку-поскольку, у кого-то родные там в боях были, а кто-то еще не терял надежду быть засланным в отряды белорусских партизан, тем более, что слухи о такой возможности время от времени возникали снова и снова, что будто у самого Сталина этот вопрос на рассмотрении, определенно по Томской колонии.

К зиме в колонии произошла реорганизация: тех, кто младше, поселили в одном спальном корпусе, тех, кто старше – в другом, при этом всякое сообщение между корпусами прекратилось. Проволочное ограждение, устроенное между корпусами, и охранная будка, появившаяся посередке, действовали угнетающе.

Такая реорганизация была вызвана, очевидно, учащением побегов колонистов на волю. Куда ребята убегали, на войну или просто погулять, сведений у нас не было.

Убегали, конечно, старшие колонисты. Старшим колонистам была

определена тяжёлая работа, младшим – лёгкая.

Я, попавший в старший возрастной состав, теперь работал на той же фабрике, только не в тёплом тапочном цехе, а на улице, во дворе – в бригаде, обеспечивающей подготовку деревянной тары для упаковки готовой продукции. Что значит – обеспечить подготовку? Это значит, из всякого дощечного хлама и дерьма, привозимого откуда-то внавалку, требуется склотить ящики. Много, много ящиков, бесконечное множество. Производим мы эту свою продукцию в древнем сарае без дверей и наполовину без стен, ветер свистит и снег завихривается. Бригадир, хвала ему, сжалился. Определив, с какой стороны больше идёт завихрение, он, бригадир, по кличке Куц, распорядился склотить широкий щит во всю стену, а, кроме того, он распорядился натаскать кирпичей, и сам лично наладил «грудку», – так появилась возможность разводить огонь без риска устроить пожар.

– Что, так вот лучше? – удовлетворённый Куц подмигивает и подёргивает рябой щекой, наблюдая, как в «грудке» заиграло пламя, заискрились угли.

Куц был из лагерников, оттянул положенный срок, освободился и остался вольнонаёмным при зоне. У него два метода общения с нами: приказ и пинок. Вообще пендель, как в лагере взрослых, так и в колонии есть первейшее средство воспитания и убеждения. Мы эту нехитрую школу усвоили быстро и, получив словесное распоряжение, не ждём, когда последует другой метод общения, тем более, что нога у бугра тяжёлая, носит он обувьку сорок последнего размера.

У меня, в частности, ссадина на правом бедре давала о себе знать целую неделю, никак не подживала. Такой увесистый пендель.

А тогда я, получив задание вынести из сарая готовую тару и сложить снаружи под стеной, замешкался у огня, грея заочковенные руки, да и не охота было наружу выходить, на открытый ветродуй, мог бы кого другого послать, хотя бы вон Пашку, который раньше меня подошёл греться, – так я рассуждал про себя. И тут-то, пока я так размышлял, жалея себя самого, роднёнького – вдруг удар в нижнюю часть сзади. Я перелетел через кучу дощечек, кого-то по дороге сшиб, растянулся на брюхе с растопыренными руками, будто пловца изображал. Бригада заржала в восторге. Дуралеи, им лишь бы цирк.

Куц после такого действия больше не поглядел на меня, слова не потратил – кремень.

Пацанва, конечно, продолжала смеяться, хихикать, что с них взять, отморозки.

А я, придерживая правой ладонью ягодицу, хромая, поплёлся по заданному курсу.

А вообще-то он, бугор, – добрый. Без этих самых, без «лю-лю-лю», без сантиментов. Добрый, рассуждает нормально. Защитил бригаду от заведённого порядка непременно дважды за смену выстраиваться в шеренги

на площадке перед вахтой, дабы охранники, сидящие в проходной будке, могли через окно, не выходя на холод, нас пересчитать и определить, не ударился ли кто в побег. Теперь мы не стоим под окнами будки, а охране, если надо, если её сомнение берёт, она сама приходит к нам в сарай и считает нас на рабочем месте. Во-вторых, выхлопотал всем пимы, старые, правда, молью почиканные, с заплатками, но ничего, нормальные пимы. И кирпичную «грудку» он соорудил в обход пожарных строгих правил, до нас тут никакой обогривалки не было. У него даже есть свой взгляд на спасение цивилизации.

– Вы, лоботрясы, думаю, все знаете, что такое деревенский огород. Или, которые городские, по базару рыскали, не знаете, – проводил Куц педагогическую беседу. – Так вот, объясню тем, у кого голова пуста. Огород это то место, где всякая потребная овощ растёт, то есть жратва для вашего брюха. Оставь землю без догляда хозяйского, не пропаши, не вскопай лопатой, поленись. Так тут же осот забьёт. Не знаете, что такое осот? А что вообще знаете? Осот – это бурьян. Выдует этот бурьян на огороде... К тому я это вам, ослоухие, что если умным людям дуралеев, оболтусов не воспитывать, дурнину из них не вырывать, не выпалывать, не вышибать, одни будьялья сплошь вырастут. И что? А то, что цивилизации на земле будет каюк. Я, значит, для того и есть, чтобы вот такую агрономию блюсти. Поняли? Кто не понял?.. – Куц удовлетворённо зевнул, пожевал губы и со значением, с определённым смыслом поглядел на свой правый валенок, сделал ногой характерное движение, и все, конечно, сразу поняли, оттого ближние отпрыгнули на безопасное расстояние. Для спасения, конечно, цивилизации.

А главное, когда мы выходим в ночную смену, бугор разрешает двум-трём выделенным пацанам пролезть в сырьевой цех и добыть там деликатес или, как лучше сказать, «охрененное» лакомство, смак. Не знаете, что это? Не пробовали? Ну, тогда многое потеряли.

А вот по порядку. Сырьевой цех – это то самое помещение, где стоят опущенные в ямы и вмонтированные в бетонный пол огромные металлические чаны эти. Чаны, ёмкости эти, полны шкур, залитые известковым раствором. Примечательно то, что в этом цехе ночами никто не работает и не дежурит. Только две или три лампочки слабо тлеют в нишах, еле разрезают мглу. Вонючий растворный пар поднимается к потолку. То, что попало в чан, навсегда, конечно, потеряно для нас, детей цивилизации, – уже не полакомишься, если нет охоты в расцвете молодости угодить на кладбище. А вот то, что рабочие ещё не успели сбросить в чаны – это другое дело. Не сброшенные шкуры лежат у стены на мокром лоснящемся полу в одной или в двух кучах. Вот в этих-то кучах и надо поискать, пошарить то, что требуется.

Вы думаете, дверь в сырьевом цехе распахнута, заходи и разгуливай? Как бы не так. Замки пудовые на дверях. Да к тому же ещё и пломба. А сама дверь-то из железа в палец толщиной.



Пацанва наша не могла бы сама себя уважать, если бы не отыскала способ, как проникнуть вовнутрь помимо дверей. Основная заслуга Пашки.

Он оказался оч-чень по этой части смышленным – кстати, брюхо у него так и не восстановилось, рефлекс получился: как поест чего всухомятку, так его тут же начинает пучить, позывы на рвоту. Вот он, Пашка, обладающий замечательно чутким носом с его прирождённой привычкой заглядывать во все мусорные углы, однажды, когда бугор отсутствовал, уйдя на вахту к охране решать какой-то вопрос, Пашка-то пошёл в сортир, так он сказал, потом уж он признался, что не в сортир ходил, а в разведку.

– Ты, дохляк, чего бродишь-то! – зашумел помощник бригадира Абрамкин.

– Дык, сказал же... Чего вы? Брюхо схватило...

– Финтишь! По шее тебе дать, чтобы не брюхо, а голову схватило!

И тут Пашка вытряхнул из-под полы увесистый сырой кусок свиной шкуры, наткнул на палку, сунул в огонь и заявил с видом пахана:

– Хрен вот вы у меня получите... Если лаяться будет... – Однако тут же добавил: – А кто за меня, тому? Посмотрим.

Понятно, у всех сразу желание лаяться пропало. И помощник бригадира Абрамкин смолк. Потому как аромат сальный такой пошёл по всему длинному сараю, что тут же стало уж не до ящичков. Сошлись к очагу все, окружили Пашку. Глазеют вожделенно. А тот покручивает палку, и капли жира падают в огонь. Иные капли охватываются пламенем налету, в воздухе, и трещат, шипят совсем как дома на сковороде.

– Луку бы сюда ещё, – заподлизывался толстый Туф. – Вот бы тогда! Верно, Паша?

А Паша, доведя жаркое до нужной кондиции, взял топор и принялся осторожно и бережно рассекать на чурке дымящуюся шкуру, свернувшуюся трубой, на мелкие лоскутки.

– Кто-нибудь на васере постоит, чтобы Куц не накрыл, – предусмотрительно сказал Абрамкин, получив свою долю.

Пашка проявил справедливость: каждому бригаднику досталось по кусочку. К приходу Куца от деликатеса ничего не осталось, каждый проглотил свою дольку без жевания, – а жевать его всё равно бесполезно, шкура не жуётся. Свиная шкура проявляла себя разве только в желудке, проявляла иканием да жаждой испить кипяточку.

Но Куц не дурак. Едва появившись в проходе сарая, он потянул ноздрями воздух и гаркнул:

– Признавайтесь, сучата, что где спёрли? Мои беседы о цивилизации не усвоили?

На целую минуту наступила мёртвая тишина. Стало слышно, как ветер, срывающий с земли позёмку, шелестит, застревая в колючей проволоке ограждения. Тут Паша снова запросился в сортир. Ещё сколько-то человек туда же спешно побежали. А остальные принялись так стучать молотками,

изображая дружную работу, что бригадиру пришлось останавливать.

– Стоп! – приказал Куц. И, помедлив, сказал: – Повторяться не буду.

Ну так что? Спёрли? Где?

И тут Пашка, которого Куц перехватил на пути в спасительный сортир, промямлил:

– Да вон... чуток я добыл...

– Так, раскололся. Это уж легче. Пошли, показывай, где добыл, – резко развернулся бугор, приподняв правую ступню, как бы для удара.

Пашка обречённо поджался, ожидал заслуженного справедливого пинка под зад. Но пинкаря, к удивлению всех нас, а ещё больше к удивлению самого Пашки, не последовало, и оттого Пашка сжался ещё пуще, окончательно оробев и растерявшись.

– Дык... – намерился он что-то пояснить в своё оправдание.

– Вот тебе и «дык», – передразнил Куц со злой гримасой.

Вдвоём они растворились в темноте фабричного двора. Где-то ходили. Вернулись молчаливые. Ни Куц ничего больше не говорил по этому поводу, ни Пашка. А на следующую ночь, когда бригада поработала дружно и прибыльно, упаковочной тары наставили мы за стенкой сарая целую пирамиду, бугор, подобрёв, усмешливо поинтересовался:

– Ну что, жаркого хотите? Того, как вчера...

– Хотим! – завопила пацанва.

– Тихо! Тихо! Не так активно, – пресёк взмахом руки Куц.

В напарники Пашке был выделен доброволец в лице Генки Сороки, бойкого пацана по кличке Моргун. Они отправились за добычей.

Так у нас это дело и началось. Напарниками у Пашки каждый раз были разные добровольцы. Ходил и я. При этом, когда поход за добычей в сырьевой цех устраивался, в то самое время, в тот самый час, когда пацаны организованной группой шли туда, сам же Куц шёл в проходную будку, чтобы отвлекать разговорами, разным трёпом охрану.

Под корпусом сырьевого цеха был лаз, прорытый когда-то шальными дворнягами, в него-то и умудрился Пашка проникнуть. Когда я попробовал, то оказалось, не так уж это хитро: свернулся плотнее, шапку на уши – и ныряй вниз башкой.

А во внутренностях тут уж оглядись. Приметь обострившимся глазом сразу, что где лежит. Чтобы зря по помещению не рыскать. Чтобы тень твою не металась. Потому, как если что, то срок дополнительный накрутят за милую душу. И тогда уж маму свою наверняка не увидишь. Вторая будет судимость да плюс особый пункт в статье, кража-то, вон, государственная, кусок шкуры-то, он государственный, за такое полагается – ой-ой. К тому же может прокурор ещё и «вредительство» присовокупить. Ну, как, дружок? Нет, нет, правде в глаза смотри. Шкуру режешь, значит, вредишь достоянию. Ясно же. И курёнку щипаному ясно. Цивилизация на этом как раз и держится, что всем ясно.

Со двора в окна помещение с края на край просматривается. Надо

потому сразу от лаза метнуться влево. Там бочки с известью, с хлоркой и ещё с чем-то, с каким-то компонентом. Между ними на кукурьках, между бетонными столбами, а потом уж пролезть по за чанами, полными смердящего раствора, в которые, сдуру и сослепу, можно по скользкому-то сырому полу запросто плюхнуться.

Плюхнешься, облезешь весь. Так вот, чтобы не облезти, гляди в оба. А за чанами опять бочки, за бочками деревянные настилы, – и по настилам на четвереньках, – а тогда уж наткнёшься на кучки те, что тебе надо. Шкуры, не тронутые обработкой, они сразу приметны. Молодец, Пашка, разноухал! Проторил первую тропку. Талант!

Наткнуться в туманном полусвете на нужную кучу – это ещё далеко не значит, что дело сделано. Нет! Теперь надо, втыкая пальцы в сырую, холодную, скользкую мякоть, нащупать, где толще мездра.

А толстая мездра почти сплошь живая. Под пальцами, под ладонью она шевелится. Я первый раз в испуге отдернул руку. Пашка весело и ехидно засмеялся, поганец:

– Что? Кусачие? – и успокоил: – Не бойсь, ето ети самые... Не боров ожил. Ети самые...

«Ети самые» – толще моего пальца, белые, крутящиеся. Они, негодуя, что их вытолкнули на свет, расплзались. Пашка, отполосовав бритвенно-острым ножом, наточенным на кирпичках, самый толстый край шкуры, присев на кукурьки, выскребал этих обитателей на бетонный, оледенелый пол.

– Что, что? – делая свою работу, приговаривал Пашка. – Слышь, китайцы будто ету гадость жрут. Будто в ресторанах даже за большие деньги едят.

Пашка говорит, конечно, про ту «гадость», которая на полу крутится, извивается и ползает, а не про ту, какую мы с ним собирались жрать, принимая за высший вкус. Китайцы жрут всё, что шевелится, однако, шкурой-то наверняка брезгуют, а нам – лакомство.

Про это мы поговорим у огня, когда каждый, наткнув свой лоскут шкуры на палку, выжарит над пламенем, вычистит щепочкой и по верху, и изнутри от червей и от копоти и ещё раз сунет в синее пламя, будет отрывать зубами кусочки и заглатывать.

Ох, дуралеи, эти китайцы, что не едят такой деликатес, особо свиной. Лишь червей жрут. На свой вкус. Верно, отмечал я, деликатес успел напитаться парами извести и хлорки, присутствовавшими в воздухе сырьевого цеха, но это – ничего, пустячок. Это на аппетитность не влияет. Приправа. Если тебе не по нутру специфический запах – не нюхай. Зажми нос. Ртом дыши. И проглатывай скорее.

Вот, попробуй-ка, приятель. Попробуй так. Уговаривать? Ха! Надо кого-либо уговаривать. Каждый уплетает с причмокиванием.

Вспомнив про это через много лет, я буду искренне удивляться, что ничего аппетитнее и вкуснее, чем то шкурное жаркое на палочке, мне уже

никогда не перепадёт. Ни в столовке на строительстве Красноярской ГЭС, ни в Москве в самом элитном столичном кафе Всесоюзного дома литераторов, где гурманствовали в свою пору Горький, Алексей Толстой, Илья Эренбург...

Насовав побольше жирных кусков в пазуху и затянувшись опояской, я следовал за Пашкиной спиной опять меж стеллажами, пригнуто, опять между бочками на четвереньках. В сыром мы пробыли не более десяти минут. Дальше нельзя. В бригаду могут нагряться оперативники для пересчёта нашего поголовья.

Раздутому, нагруженному добычей, нырнуть в лаз под стеной сложновато. К тому же камни, выступающие с боков по всей дыре, заострены как раз во внутреннюю сторону, встречно.

Едва мы возвращаемся – бегом, бегом – в свой тарный сарай, вот и они нагрянули – оперативники. Разумеется, с овчаркой. Куц отдаёт бригаде команду на построение. Оперативники считают. Все на месте. Сбежавших нет. И уходят удовлетворённые – можно им теперь завалиться на топчан и поспать. Верно, овчарка при уходе сделала потяжку поводка назад, оглядываясь, но на неё прикрикнул собаковод, она смирно опустила хвост и покорно пошла, теснее прижимаясь боком своим к пиму хозяина.

Если вы думаете, что Куц тут же позволил нам сесть у очага и заняться тем, без чего так истомились наши голодные желудки, то глубоко ошибаетесь. Куц заставил нас без передыху вкалывать. На его взгляд мы сегодня хуже работаем, чем в предыдущую смену, и вообще мы несусветные лентяи, паскудники, хмыри и прочий низкий элемент и потому нас надо проучить, посадив на самую низкую пайку, чтобы мы знали, что такое жизнь. Цивилизация требует.

Вот такой он – Куц.

Ну, а жаркое уж делай как хочешь, твои личные проблемы, выкраивай минуту-другую, подбегай к огню, суй туда заострённую палку с нанизанными кусками, да так, чтобы бугор не заметил, чем ты в рабочее время занимаешься. Куц делал вид, что и в самом деле он не замечает наших проделок.

В эту смену куцовского пинкаря получили толстяк Туф, Генка Сорокин и ещё с десяток пацанов...

Вот такие-то, значит, были дела.

Я, кажется, забыл сказать читателям в моей скорбной повести, что наша Томская колония соревновалась за звание образцовой колонии Советского Союза. Соревновалась с Уральской колонией, какая в Челябинске. Теперь уж не ходячие слухи, а точные сведения были объявлены нам, что сам Сталин отдал распоряжение: подбирать из несовершеннолетних эков-колониистов, кто старше, и формировать отряды для отправки в военные училища, а как наступит совершеннолетие, так отправлять на фронт в звании младших командиров. Разумеется, зачисленные в сформированный отряд будут расконвоированы. В Челябинской колонии уже такое есть. Ура-а!!!

Такая весть очень, очень воодушевила пацанву.

– О, ништяк! Пораньше обретём свободу, – закатывал мечтательно под лоб глаза Генка Сорока, у него срок больше, чем у других бригадников.

– Обретёшь ногами к шее, как же, раскрывай рот. Отпускать станут тех, кому гражданин судья срок меньший накрутил, – остужал Сороку вяловатый Туф.

– Не вякай, – заводился Сорока. – Не тебя же в командирское училище направят. Пацаны, представляете, Туф – наш командир. Ой, умора! Ой, не могу!

Туф, между прочим, был очень сильный, при разгрузке брёвен с железнодорожной платформы брал бревно с комля, он мог бы скрутить Сороку, но робел и в спорах всегда отступал. Туф почему-то тянулся ко мне. Впрочем, и Генка Сорока считал меня в своих корешах.

## ЛОВИ ВЕТРА В ПОЛЕ

Истекала суровая зима 1943 года. Из писем мамы я узнавал, как живут дома. Очень плохо живут. Мама пробовала разыскать отца, не смогла. Отца как арестовали в 1937-м году, так ни слуху, ни духу. От Василия с фронта тоже никаких вестей. Как увезли эшелон в Сталинград, так и крышка. Маме совсем худо, на военный завод работать не берут даже уборщицей, потому что муж взят по 58-й, она может навредить предприятию. А кроме таких заводов работы в городе больше нет. И она торгует на центральном городском рынке извёсткой, за которой ходит с двумя вёдрами на коромысле за тридцать пять километров в карьер в Колыванский район, тем самым кормит себя и младшую мою сестрёнку Раю.

От Эры – письмо, но холодное, или так мне показалось, что холодное, я ожидал получить от неё не такое письмо, а какое именно, я и не знаю какое. Она написала о наших общих девчонках и пацанах, кто бросил школу и работает на военном заводе, а кто школу не бросил и учится. Сама она тоже не хотела бросать школу, но пришли с завода комсомольцы и уговорили работать сверловщицей в дневную смену. После работы ходит в госпиталь, размещённый в клубе имени «1 Мая», мы его называли «Маятка», перевязывает раненых, будет медсестрой. Об этом вот всё её письмо. И ничего о наших с ней отношениях. Я понял, что там, у города, своя жизнь, никак не пересекающаяся с моей здешней жизнью. В конце письма нарисован цветок на склонившейся ножке, копия того, что на обложке учебника «Биология», уроки по которому мы когда-то с ней готовили вместе. Только этот рисунок и напоминал о наших светлых днях.

Перемены в колонии шли к лучшему, отряд старших колонистов для отправки в военное училище, действительно, начали формировать. И сформировали. А чтобы все поверили, что отправляют его не куда-то, не в соседний лагерь взрослых эзков продолжать тянуть неоконченный

срок, а как раз в военное училище, их тут же, в колонии, обмундировали в новенькое военное. Военная форма на ком обвисала, на ком топырилась на спинах и на коленях, однако выглядели парни бодро, празднично, браво, можно сказать. Построили их на главной аллее, чтобы вся колония могла проводить счастливых.

Строй новобранцев принимал приезжий майор. Очень высокий, худой и совсем не по-военному сутулый. Признаться, своим видом майор разочаровал нас, но когда услышали его звонкие команды, подаваемые строго и властно, то переменили отношение. Команды рассекали воздух будто выстрелы.

В колонии по такому случаю отменили все работы. Построили нас на главной аллее, чтобы мы могли проводить товарищей. Военная форма, повторяю, на ком обвисала, на ком топырилась и на спинах, и на коленках, однако, снова повторяю, выглядели парни бодро, празднично, очень браво.

Пацаны из оркестра дули в трубы, колотили в барабаны. Инспектор из КВЧ, носивший популярное прозвище Жмуд Жмудович, остроносый, похожий на скворца, прыгал на дощатом помосте, махал руками и делал призывы. К новобранцам обращался, чтобы обучение хорошо прошли и лютого врага на фронте беспощадно били, честь колонистов держали, а всем остальным он говорил опять о соревновании, о необходимости крепить режимную дисциплину, и о всякой такой мутоте. «На фронтах Отечественной войны Красная Армия гонит фрицев, и что задача первостепенная колонистов – крепить тыл трудом на производстве и своим примерным поведением в быту». Про это Жмуд Жмудович долдонил на каждом разводе. Но вот странно: прежде такое не воспринималось и ушами, а теперь вот вижу, колонисты слушают и волнуются, и я сам проникаюсь свежим смыслом было надоевших слов, торжественность обстановки поднимает душу.

Пашка дёргает меня за рукав:

– Повезло им. Прифартило, – кивал он на отправляющийся отряд.

– Везёт козлам, – поддержал Пашку тщедушный Таракан, относящийся к сословию мелких урок. – Из того училища я бы рванул запросто. Гуляй, блямба, на свободе. Лови.

Пашка втянул голову. Он не про это имел ввиду, то есть, не про то, чтобы рвануть. Выучиться на командира – мечта его.

Завершающую речь толкал сам начальник колонии Вязинский (или Везунский?), полковник, имевший длинное худое лицо, как бы лошадиное, и суровый тяжёлый взгляд. Он был как всегда в серой гражданской одежде, то есть в толстовке, лишь белым своим шарфом на сухой жилистой шее подчёркивал праздничность совершающегося события. Мы ни разу не видели его в полковничьих погонах, да и в военном обмундировании не видели. Не исключено, что термин «полковник» это у него не фактическое звание, а прозвище, обычная кликуха. В колонии, как и в лагере, обойтись

без того, чтобы не прилепилась кликуха, вряд ли кому удаётся. Бывают прозвища высокие, достойные, вот, например, как «полковник», а бывают низкие, оскорбительные, вот, например, как «жопа», «бздун», «слизняк», но всякий раз непременно выражен с ювелирной точностью характер человека. Полковник с присущим ему умением строго концентрировать на себе внимание, говорил опять же про то, про что говорили предыдущие фигуры на трибуне. Только у полковника выходило весомее и значимее: про то, что «надо трудом крепить тыл», про то, что «немецким фашистам надо показать, на что мы, советский народ, способны». Я давно заметил, что мне очень нравится слушать высокие слова, это как будто кайф. И также давно заметил, что магия словесного гипноза слетает с меня быстро, как налетело так и слетело. Что, думаю, даёт основание судить как о типе далеко не зрелом, не состоявшемся, похожим на кусок железа, которому кузнец ещё не успел придать нужную крепость и нужную форму, это я о себе, дорогом. Я, значит, тип незрелый.

В этот день, как бы в отместку всем словесным установкам, произошло очередное, позорящее колонию, ЧП. Стыдобушкка. Позор натуральный.

И надо же так случиться – как раз в этот день. В торжественный день. И в столовой-то всех накормили с добавкой, чтобы недовольных не было. И кино было показано про войну: наши бежали в атаку, кричали «Ура, за Сталина!», а немцы драпали. И девчата приходили, свою художественность разыгрывали.

Думаю, вот приход девчат и их самодеятельность – песенки, плясочки – как раз и добавили каплю в море тоски некоторым в душу. Сразу после концерта и после ухода отряда новобранцев было объявлено по корпусам о построении на развод и на выход на кожзавод вечерней смены. Вот тебе и раз, а говорили, что вечерней смены сегодня не будет. Оказывается, дали отдых только тем, кто в первой смене. Остальным «упорным трудом крепить тыл». Пацаны сходились к воротам на развод с негодованием.

– Осмодеи! – куражился, кричал Таракан, выражая общее мнение по отношению к начальству.

Сумерки сгущались, однако внизу, в речной пойме, укрытой снегами, через сиреневый воздух ещё просматривалась пригородная даль. Я стоял с правой стороны колонны. Уже пересчитали по рядам, открылись высокие глухие ворота. И тут вдруг охрана что-то зашумела, забегала. Последовали надрывные команды: всем сесть. Колонна села на корточки. Но что случилось, я не видел. Послышались выстрелы.

Это произошло, повторяю, вскорости после того, как схлынуло торжество, устроенное по поводу проводин избранных колонистов, обмундированных в завидную военно-курсантскую форму. Да еще и не схлынуло. Я думаю, что если майор повёл новобранцев пешком, то они ещё, пожалуй, и не дошли до города, а где-то за рекой, за мостом шагали, по ту сторону, берегом.

И, значит, выстрелы им были слышны.

Тут я, повернув голову, с правой стороны на левую сторону, стал

разбираться в происшествии. Группа охранников бежала к постройкам, за которыми открывался пустырь. По пустырю ехали двое или трое саней с возами сена, ехали они узкой дорогой наперерез бегущим охранникам. А за возами, по ту сторону дороги, мельтешило несколько мелких человеческих фигурок, удаляющихся скорым бегом, до них было метров триста, не больше. За пустырём начинались другие постройки. Кто-то комментировал позади меня, искренне сожалея:

– Поспеют ли? Поспеют ли?..

– Кто куда поспеет-то? – толкнул я локтем Генку Сороку, который тоже вслух выражал своё настроение, вытягивая шею и вглядываясь вдаль. А глаза у Генки острые, ястребиные.

– Дак что, ослеп, что ли, – сказал он в нетерпении. – Чуря ходу дал. С ним шестёрки. Видишь, сзади прикрывают Чурю. И Таракан там примазался. Вон, видишь, Тараканька шустрит. Вот, поспеют ли пока вон поезд идёт или не поспеют...

– Но ведь Таракашка вот только в строю был.

– Был да сплыл.

Ой, верно, поезд вон идет.

Чуря – авторитет в колонии. Не главный, но авторитет. Прошлым летом прибыл этапом из Новокузнецка. Огненно-рыжий пацан, говорят, был неуловимым потрошителем состоятельных квартир в своём городе. С десятилетнего возраста занимается этим промыслом.

– А причём здесь поезд? – не понял, однако, я Сороку, и потому с напряжением оценивал ситуацию. Да, видел я, за постройками движется железнодорожный состав. Тот, который постоянно доставляет на лесопильный завод брёвна. Фигурки беглецов между тем укорачивались и скоро скрылись за постройками.

– Если собачник спустит с поводка овчара, то всё, им крышка, – говорил Сорока. – Не спустит, однако, нет.

– Откуда знаешь, что не спустит?

– Дак овчар же, хоть и обученный, но на любого там может кинуться.

На ребятню вон.

По тому, как колонисты реагировали, было видно, что все болеют за Чурю. И как-то было даже дико предположить, что в сложившейся ситуации можно болеть не за беглецов, не за свою братву, решившуюся на такой подвиг, а за преследователей, за этих осмодеев. Ай да смельчаки.

Конвоиры, державшие нас сидящими на курорьках, улавливали нарастающее в колонне раздражение и пелили винтарями. Пелили винтарями так нервно, что, казалось, в любой момент могут последовать выстрелы, но уже не по беглецам, а по колонне, сидящей на курорьках, стоит только кому-то поднять голову и проявить акт нарушения режимного порядка.

– Сидеть! Сидеть! – были команды.



На рабочий свой объект мы ушли в полном неведении. О результатах узнали лишь утром, когда вернулись в спальную зону. Вернее, когда ещё не дошли до спальной зоны. Узнали, когда пришли на КПП. Шмон на вахте на этот раз был особо тщательный: принуждали разуваться и трясти портянки не выборочно, а подряд.

На дощатом высоком помосте, откуда вчера чуть ли не весь день произносились, толкались торжественно-воспитательные патриотичные речи, лежали мертвецы. Да, это лежали трупы, их было три, ничем не прикрытые, шапок на них не было, стриженные черепа припудрены снегом, а лица не припудрены. Таракан был здесь, похожий на сломленный сучок сухого дерева, давно обгоревшего на корню. А Чури не было. Это определили мы сразу, ещё не совсем подойдя, что огненно-рыжего Чури среди троих тут нет, и не скрывалось пацанами облегчения.

Стоял на помосте, над стылými трупами, инспектор КВЧ Жмуд Жмудович, по-галочьи смуглый, всем своим видом выражал печаль и укор. Ясно, он молча демонстрировал то, к чему может привести дурь в наших головах, не желающих настроиться на беспрекословное исполнение режима.

Наиболее пронырливая братва в корпусе, успевшая всё разведать, по-тихому, таинственным шёпотом, сообщала каждому встречному с радостью, что Чурю не взяли, ему удалось уйти, вернее, уехать – он зацепился за проходящий товарняк. Тех же, кого взяли, затравили собаками для назидания. Весть эта гуляла по всем корпусам. Состояние протеста владело каждым, как и всеми. Собаками травят, гады! Однако в мыслях не было определённости.

Через сутки возьмут ещё одного бегуна – по кличке Гоп, рослого, жидкого телом, пацана, входившего в ближнее окружение Чури. Доставят его в зону избитым, но живым. Лицо перекошено, в фиолетовых кровоподтёках.

Самого же Чурю возьмут только через два с лишним года за многие тысячи километров от этих сибирских мест, в столице Венгрии, в Будапеште, и совсем по другому делу возьмут. Он признается, что сбежал от отчаяния, от обиды, что не мог не сбежать, как же, других пацанов зачислили в училище на командиров, а его не зачислили. Обида кровная, оскорбление. Поймают, говорю, через два с лишним года. Но об этом после расскажу, если будет на то воля Всевышнего.

Так закончился начавшийся радостно день.

## **ПРОСТИ НАС, ИГОРЬ САМУИЛОВИЧ**

Колонистам на склоне этой же зимы – 1943 год – было суждено пережить страшную эпидемию какой-то особой заразы. Нам не говорили, не разглашалось, что это за такая зараза, просто прибыла министерская, из Москвы (из Москвы!), комиссия, ходила по зоне в синих халатах. Потом

чем-то прыскали.

А корпуса, где обнаружилась болезнь, закрылись сразу же на карантин. Наглухо закрылись. Это называлось: «Обеспечение глухого карантина».

Болезнь с самого начала проявлялась фиолетово-красной сыпью. Таких на работу не водили и никуда из спального корпуса не выпускали.

– Лафа, – завидовал толстый Туф, видя, как подвозят к карантинным корпусам на тележках из столовки бачки с едой. – Лафа. Вкалывать их не гонят, пайку усиленную дают, баланду улучшенную наливают, лежи да лежи. Эх, я бы отоспался!

Отоспаться вволю хотелось не только одному Туфу.

Режимный порядок угнетал и изматывал до очумления, мы были словно злаковые стебли, попавшие в молотильный барабан. Двенадцать часов на смене. Час – на то, чтобы стоять в воротах на разводе и на то, чтобы дойти в колонне до места работы. И час на то, чтобы переместиться с работы. Два часа занятий по общеучебной школьной программе. Как же, о нас заботились: мы должны выйти отсюда грамотными. Нам говорили о заботе Сталина: грамотными мы должны выйти. Не всем удастся попасть в красноармейское училище, но зато всем удастся участвовать после победного завершения войны в восстановлении страны Советов. Надо думать о будущем Отечества! Обязательный политчас со Жмудом Жмудовичем доводил до остервенения.

И ещё обязательные каждодневные занятия по режиму, которые проводил когда тот же Жмуд Жмудович, а когда какой другой инспектор.

– Алексеев, скажи мне основное преимущество социализма над капитализмом, – спрашивал въедливый инспектор, указывая пальцем в дремлющего Туфа, положившего голову на моё плечо. Алексеев – это его фамилия.

Я отстранял своё плечо. Туф вздрагивал и ронял голову себе подбородком на грудь.

– А? – спохватывался он.

– Скажи мне, Алексеев, в чём разница между капитализмом и социализмом? – занудно повторялся вопрос.

– Ага... Это... При капитализме жить народу плохо, свободы нету, а при социализме – хорошо! – выпаливал Туф, не совсем проснувшись.

– Правильно, – отмечал похвально инспектор.

На другом занятии опять к Туфу вопрос. Он, конечно, опять валил свою бестолковую башку на моё плечо.

– А ответь, Алексеев, с какого часа ты не должен выходить из спального корпуса в вечернее время?

– А? – вздрагивал Туф, бессмысленно моргая глазами. Вопрос ему повторялся в том же тоне: «А ответь, Алексеев...»

– Дак это...

Выясняется, что согласно новому расписанию, выход из спального корпуса на улицу запрещается не в час отбоя, а раньше.

Новым расписание режима можно было считать лишь с большой натяжкой. Оно фактически было не новым, а уже старым. Но пункты в

нём мало кто читал, а тем более утруждал себя запоминанием.

– Запомните все! – призывал угрожающе на тонкой ноте Жмуд Жмудович и в бессчётный раз читал нам вслух это новое расписание.

Он же, Жмуд Жмудович, был неотступен во всех других воспитательных вопросах. Настырно завлекал нас в кружки самодеятельности, хотя результат был близок к нулю. Из всей бригады лишь двое завлеклись играть на балалайках, но и тех хватило только на две или три репетиции – отличились этим геройством Туф и Сорока.

Приходила в красный уголок проводить свои занятия студентка Томского медицинского института, так, кажется, она представилась. Белые пимики и тёмная чёлка под белой пушистой вязаной шапочкой. С ней непременно вваливались два надзирателя, внушительные громилы, амбалы, хохлы Хряпко и Остапко, они садились за её спиной, угрюмо и сосредоточенно наблюдали.

Громил этих приставляло начальство, понятно, для защиты девичьей чести. Кто же доверит курочку волчатам! Хищникам, у которых мозги не созрели, а зубы отрасли, это мы, значит.

Вопрос у студентки-медики, звали её, помню, Рита Петровна, был крайне актуальный для нашего беспутного контингента: «Половые извращения в подростковый период и нарушения психики с этим связанные» У неё даже плакатик был на эту тему, который она аккуратно и бережно вешала на стену, изображающий почему-то голову поросёнка. Ужель она полагает, что у нас поросёньчи мозги? Ну, аналогия!

Пацанва, конечно, тут же придумала студентке прозвище: «Пикулька». Голосок у неё был пикулистый, напевный.

На занятиях у «Пикульки», естественно, ни спящих, ни дремлющих не оказывалось. По ней выходило, что вздрачивание (по-медицински – мастурбация) вредно влияет на психику, а выпускание малофейки (по учёному – сперматозоидов) ведёт к понижению в будущем детородного потенциала, так она выразилась: «детородного потенциала».

Что такое «потенциал», что скрывается за этим учёным словечком, конечно, никто не понял. Хотя слово-то всем приглянулось – красивое, напевное слово, и каждый находил ему своё применение.

– Вот как вкачу тебе между ушей, так сразу по самый потенциал будет! – ругался кто-нибудь.

Или:

– А пошёл ты к потенциалу!

Лоботрясы, самые отъявленные дровичильщики, лезли под скамейку, будто что-то уронили. Лезли, чтобы что-то снизу разглядеть и там наскоро совершить своё дело. А что там разглядишь – не лето же, не оголено под юбкой-то. Я сам не стерпел, слазил для интереса: ничего там не видно. Никакого потенциала.

Поводов для хохм было достаточно после таких-то бесед.

– Эй, братва! – возглашал Генка Сорока, когда дневальный объявлял отбой и все прыгали на нары под одеяла. – Детородный потенциал чтобы

не расстраивать, смотрите!

Полагаю, что для уменьшения массы психов-мастурбаторов (почёмому) Пикулька никак не повлияла положительно, если даже не наоборот – не увеличила своим появлением число таковых. Обострила интерес, став замечательным наглядным объектом для возбуждения эротических фантазий.

Карантин между тем продолжался. И продолжался до самой весны, когда все канавы и канавки на зоне заполнились играющими на солнце ручьями. Потом были подогнаны автомашины с цистернами и шлангами. Через все окна что-то вбрызгивали во внутрь. И тут кто-то из пацанов, смотревших со стороны, изумлённо ахнул:

– А где же вся братва-то?

– Какая братва?

– А какая тут, в этих корпусах-то... Больные где?

– Никого тут нет, – отвечал рабочий, тащивший шланг от цистерны и сующий в окно. – Ступай себе, не мешай.

А куда девались заболевшие колонисты, вопрос для меня остался нераскрытым и до сих пор, когда вот пишу этот текст. Разговоры ходили разные, будто вывезли их ночью и определили далеко в тайге; и ещё: будто в Москву их вывезли, в институт для изучения, это которые выжили.

В ту весну случится в колонии ещё одно ЧП. Какой-то истеричный псих из нового этапа пырнёт заточкой в темноте барачного тамбура Жмуда Жмудовича (настоящее имя его: Игорь Самуилович), он в больнице скончается.

И мне, и другим тоже вдруг станет очень его не хватать, поймём, что безобидный он человек, пытающийся совершить невозможное – сделать из нас людей. Он обладал огромным интеллектом и эрудицией, а нашим головам, между прочим, ничего этого не надо было, мы отторгались, как резиновый мячик из водной глубины, и он страдал от этого. Прости нас, беспутных, Игорь Самуилович!

## **ПОКУШЕНИЕ НА МОЮ ДЕВСТВЕННОСТЬ**

В середине лета мне повезло неслыханно: расконвоировали! Ну да, меня расконвоировали! В красноармейское училище я не попал, не взяли – ростом для будущего командира не вышел, – а вот тут повезло. Расконвоировали.

Что это значит?

Это значит: я своим примерным поведением (так рассудило начальство) заслужил доверие. За мной, значит, наблюдают, и моё старание не остаётся незамеченным.

Ходить без конвоя – доверие такое. Без сопровождения овчарки. Не свободно так это ходить, куда захочу. А лишь в условленные места. Но ведь всё равно – свободно!

Условленное место – конная база. Это, примерно, километра полтора от зоны.

Вот эти полтора километра я могу идти как хочу. Могу шагом, могу бегом, вприпрыжку и всяк. А могу и остановиться, оглядеться, постоять, на небо выпялиться, на прохожих людей уставиться, могу и дворняжку какую ласковую к себе подманить, по голове пёсика погладить, если, конечно, пёсик не тяпнет за руку.

На пути и с одного боку, и с другого жилые двухэтажки, длинные, как бараки, да это и есть бараки, только в два этажа, тёмные от грязи и от старости. Вдоль окон (это чтобы не упёрли – из окон следить) женщины вешают на верёвки стиранные рубахи, кальсоны. Другие хозяйки колотят палками самотканые половики. На крыльце скачет ребятя-малышня.

По такому житейскому реализму я соскучился до слёз. До надрыва в сердце истосковался.

Вон добрая женщина с седой прядью волос, выбившейся из-под серого платка, чем-то похожа на маму. Вышла она из дома с тазиком, высыпала золу и всматривается в прохожих озабоченно, с печалью. И в меня всматривается. Что она такое заметила в пацане? Худобу и одежду с чужого плеча?

А вон парнишки пинают футбольный мяч. И мне очень хочется подскочить к мячу и тоже пнуть. Как это здорово – иметь возможность гонять по двору футбольный мяч!

Но впереди идут два зэка, старше возрастом, тоже бесконвойные.

Ой, впрочем, один из них уже не зэк, он бывший зэк – это Куц. Мне нельзя отставать далеко от них. И вообще, как меня проинструктировали, я не имею права отвлекаться чем-либо и сходить с установленного маршрута.

На конной базе, представляющей собой два длинных дощатых сарая и широкий двор с телегами, моим основным делом было гонять лошадей к реке на водопой. Дело это мне глянулось, было знакомо, исполнял я его играючи. Я выводил из яслей пегую низкорослую кобылицу, зануздывал, взбирался на её жёсткую, побитую седёлкой, спину, поправлял себе штаны в промежьи, чтобы не защемить свой мужской орган и ехал рысцей. Присвистывал и размахивал коротеньким бичом не столько по обязанности, сколько от полноты чувств. Табун лошадей в три десятка голов не разбежался, а сразу направлялся по привычному спуску к реке. Я ждал, пока лошади напьются, а пьют они в два-три приёма: потянут струю через зубы, подумают, постоят и ещё потянут, и ещё постоят в задумчивости, а с губ между тем стекают крупные капли, падают обратно в поток со звоном. Пока животные пьют, я успеваю оглядеть другой берег. Отсюда совсем близко городские улицы, лишь перебраться через водный поток и вот она, другая жизнь, старинный город, он старше Новосибирска на три века и люди в нём, наверное, все старые, описанные старыми писателями, представляю, как я бы появился среди них, они бы напуганно кричали: «Колонист, колонист, держите его! Разбойник!» А я вовсе не разбойник.

Говорят, прежде, до войны, когда режим в колонии был не так строг, колонисты сильно досаждали городу и население города долго билось за то, чтобы освободили его от таких вороватых соседей.

На базе я был придан в подручные к мордатуму дядьке по имени Семён, он тоже расконвоированный зэк из взрослого лагеря, расположенного недалеко от нашей трудколони. Мужу отчего-то не понравилось, что зову я его «дядька Семён», он, матюгнувшись, выговорил:

– Какой я тебе дядька! Племянничек нашёлся! Сеней зови.

Ну, Сеня, так Сеня, подумал я.

Сеня был низкоросл, кряжисто-осанист, упитан, он давно расконвоирован, и успел наесть себе ряху на сторонних непостных харчах.

Сеня рассказывал, как у них в колхозе районный уполномоченный учил доярок поднимать надои. «Вы сейчас надаиваете сколько?» – спрашивал уполномоченный. Доярки отвечали: «Столько...» Уполномоченный снова спрашивал: «А сколько времени под коровой сидите?» Ему отвечали: «А часов-то нету, чтобы знать». Уполномоченный распоряжение председателю сделал: повесить в коровнике часы и под коровами доярки чтобы сидели вдвое дольше, тогда и надои будут вдвое больше.

На базе шла подготовка к сенокосной поре с выездом на какие-то дальние луга. В задачу Сени, а, следовательно, и мою задачу входило: подготовить не только конную тягловую силу к ответственным работам, а и разный инвентарь, необходимый к сенокосной страде отладить. Сам Сеня готовил телеги, конные и ручные грабли, вилы, а я счёсывал железным скребком с лошадей линяющую шерсть. С иных шерсть спадала с боков клоками. Если обнаруживалась на коже ссадина, я смазывал её берёзовым дёгтем из логушка.

– Туды их растуды, – ругал всех подряд Сеня, включая и появляющихся на дворе конбазы оперов. – Затянули с сенокосом. Надо было бы уже на по за той неделе быть на лугах и уже успеть поставить там первые зароды! Дожди прошли, травища выросла, вот и брать её, пока не слегла...

Вопрос задержки с выездом состоял в том, что кадровый состав сенокосильщиков, гребельщиков, метчиков ещё не был укомплектован. Не то бесконвойных нужное количество не находилось ни в лагере, ни в трудколони, не то ещё что мешало. Впрочем, новые побеги из зон – и вообще побеги, случались регулярно, то групповые, то одиночные, – понуждали начальство относиться к практике расконвоирования всё строже и строже, биографии кандидатов на расконвоирование рассматривались на все ряды, учитывалась психическая сторона характера.

Затянув с этим делом, оперативники нервничали, как-то старались наверстать упущенное время. Отыскивали людей, особенно среди пожилых, кого можно, хотя бы временно, пустить в поле без охраны.

Ко мне относились благосклонно: по биографии-то я с одной стороны

деревенский, колхозный, с другой стороны – заводской, ну, а то, что отец забран по 58-й, в данный момент это оперативников не интересовало.

Ответственным распорядителем на сенокосных работах был назначен Куц.

– Ты забирай тех, кто есть, отправляйся, а мы тебе через два-три дня подошлём, пригоним пополнение. Пока там базу готовь, стан оборудуй, – говорили оперативники Куцу.

С одним из оперов я почти сдружился. Дело в том, что он держал в домашнем своём хозяйстве курочек, а я мог наскрести в лошадиных кормушках сумочку овсеца для него. Он так и говорил:

– Ты, малый, моим курочкам что-нибудь сообрази.

Он был доволен, смущённо улыбался, принимая от меня увесистую сумку.

Я оказался в первой группе сенокосников. Да и вся группа-то из трёх человек: Куц, Сеня и я. На двух бричках поехали, нагрузившись инвентарём. Выехали утром. На дорогу ушёл почти весь день. Солнце держалось высоко на безоблачном белесом небе. Луговины перемежались берёзовыми околками. Над лошадьми роем летали крупные, озлобленные пауты. Я ещё никогда не видел столько много паутов. Однако ни Куц, ни Сеня как бы не замечали их.

– Трава-то какая, травища, – радовался Сеня, будто себе лично ехал косить. – Вот сейчас, если такое сенцо под дождь не пустить, вот уж корм будет, вот уж!

Куц и Сеня хорошо присматривались, где остановиться. Выбрали место на всхолмке, у кучки берёз, тут проветривало, гнусу меньше.

Лошадей отпрягли и отпустили. Сеня навешал им на шею ботала и приказал мне:

– Давай тащи сушняку. Ужин будем ладить.

Я кинулся исполнять задание. Сушняку оказалось достаточно, едва я залез в ближний околок.

Огонь заметался в ворохе веток. Эх, как здорово! С этого начались мои новые волнующие впечатления.

В ожидании рабочих мы поставили дюжину шалашей. Целая улица!

Из расчёта: один шалаш на троих или четверых. Куц и Сеня себе поставили просторное жильё несколько особняком, в стороне. Я же себе соорудил шалашик небольшой, но удобный – на одного. Настелил подсохшей травы. Лёг. Растянулся. Благодать! Давно такого блаженства не испытывал! Ночью очень уютно.

Основной состав сенокосцев задержался. Куц уже собрался взнудать лошадь и помчаться назад, чтобы выяснить, думают ли там что начальники или уж ничего не думают. Деньки-то вон какие стоят, самые сенокосные, говорил он. Утром, пока роса, накашивай, а к обеду солнце жарит так, что уже сгребать накошенное можно.

Среди прибывших оказалась и Дуся, моя бывшая наставница по пошиву

тапочек. И ещё две девчонки моего, примерно, возраста, конопато-рыжая и черноволосая. Та, которая рыжая, имела круглую кошачью мордашку, острые хитрые глазки, и постоянно из неё выскакивали смешинки. А та, которая черноволосая, имела удлинённое некрасивое лицо с застывшим на нём выражением чувства обездоленности. Если одна беспрерывно хихикала, то вторая позволила себе коротко улыбнуться лишь тогда, когда рассорились до драки два старика, разбирая по себе сенокосный инструмент.

– Вот ещё, старые мерины, – сказала она.

А чтобы девчонки не подумали, что одна из них приглянулась мне, я сразу от них отвернулся демонстративно и ушёл в свой шалаш, в котором так чудесно сохранился запах подвявших луговых цветов, но в котором, честно сказать, одному было скучно.

Выяснилось, что все прибывшие, кроме Дуси, ээки. Расконвоированные ээки. В том числе и эти две девчонки, одна Оля (конопатая), другая Аня.

В тот первый день любопытные девчонки Ольга и Аня обошли все шалаши, заглядывая в каждый. Заглянули и в мой. Смешливая Ольга, поиграв подведёнными бровками, воскликнула: «Ништяк, хатка! Чур! Я здесь поселюсь».

– Как ещё поселится, – отвечал я на такое нахальное заявление. А между тем всё во мне обомлело от сладкого чувства. Я сидел у входа в шалаш и ел накопанные за шалашом саранки.

– А что, непустишь? – Ольга приподняла юбочку к бёдрам, стала кривляться. – И саранку, поди, не дашь? Я такая красивая и вот – ноль внимания. Не устраиваю мальчика. – Она с наигранной капризностью повернулась к подружке. – Гляди-ка, Анюша, не нравлюсь. Значит, ты ему понравилась, с ним спать будешь.

– Вот ещё! – напускно через губу сказала Аня, однако зарделась в щеках и тоже сделала игривое движение своими костистыми бёдрами.

Ольга, поворотившись и потрясая тугими грудками, обратилась в том же весело-шутливым тоне к бригадиру:

– Бригадир, гляди-ка, мальчик тут заелся. Я такая красивая, а он пренебрегает. Издевательство какое-то. Что это за порядки?

Куц в окружении стариков сидел на берёзовой чурке в стороне и сортировал литовки. Какие литовки были острыми, откладывались налево, а какие требовалось ещё отбивать – направо. Он вдруг весь нервно напрягся, побледнел лицом и осадил убийственно:

– Будет опер, пусть отправляет вас обоих назад, под конвой за нарушение режима. Поняли? Будут мне ещё тут вольности!

Ольга разом остыла, а серьёзная Аня жалостливо залебезила:

– Ой, а меня-то за что, дядя бригадир?

– Не о тебе речь, дура! Не хныч. Я вон про них обоих говорю. Как опер будет, сразу отправлю, – Куц указал на меня и на Ольгу.



Вот это да! Теперь мне было впору спросить жестокого Куца: а меня-то за что? Лишь после пойму: приревновал. Сам метит прильнуть к малолетке.

Ну, старый хрен!

Со стороны подала осудительный голос Дуся:

– Нечего тут всяким устраивать, чего захотят! Так если позволить именам...

Дуся прибыла на сенокосный стан с назначением определённым и важным – ведать пищевым блоком. Первый обед, какой она приготовила, состоял из зелёного борща, чечевичной каши и спелой клубники, собранной ею самолично. Клубники на прихолмке недалеко от стана выявилось море. Дусю все хвалили. Обед на славу. Особенно борщ. Все просили добавку. Дуся не скупилась, щедро разливала половником. Котёл большой. В котёл сгодилась разная луговая зелень: дикий лук и чеснок, заячья капуста, шерды, пучки...

Обедали по-семейному за общим столом, сооружённом из берёзовых жердин. У всех поднялось настроение. Присланные зэки представляли измождённых доходяг. Взгляды у них надломленные, какие-то украдчивые, а зрачки разжижены. Эти уж наверняка не нарушат режим, не сбегут, им надо выправлять и тело и дух.

– Молодец, девка, – хвалил Сеня повариху, стуча сытно и удовлетворённо ложкой по опрокинутой миске.

Не выказывал эмоций только Куц, он, наоборот, сосредоточился и построжал. Как же, он за всех ответственен.

Установленный режим Куц держал в руках жёстко. Ещё до восхода солнца все им поднимались, брали литовки, с вечера отбитые, и выгонялись на косьбу. Шли росой, похожей на стеклянные бусы. На пути пили из ручья, в нём же обмывали глаза. Косолапый грузный Сеня позволял себе порезвиться с девочками: плесканёт пригоршнь на них студёной воды и отбегаёт. Девчонки визжат и тоже убегают.

Бригадир осуждал баловство. Он поджимал подбородок и глядел в сторону, выходя на заданное место. Он вёл прокос. За ним шёл коротконогий и присядистый Сеня. Оба они умели выпускать литовку далеко, и захватывать широко. Следом за Сеней шли старики, тоже умельцы хорошие. За стариками уж я. За мной девочки Ольга и Аня. Умение косить – наука не хитрая, но особая, и каждый свою сноровку норовил показать. Красив человек в деле артельном!

Росная трава ложится в ряды плотно. Валки высокие. Старики после каждого прокоса закуривают и рассуждают о качестве сена и о том, какое сено, какому скоту лучше подходит. Если в травах преобладает пырей с тимофеевкой, то это для лошади самый желанный корм, если же широколистник – то для овцы, значит.

Из таких разговоров можно было сделать вывод, что все старики сельские жители. Взяты по каким-то мелким делам. За крупные дела – не

расконвоируют.

Ольга с Аней, эти пигалицы, вскоре перестали скрывать свои отношения с Куцем и Сеней, совсем переместились на жительство в главный шалаш.

Однако Дуся, рассчитывавшая на Сено, решила всё-таки не оставаться без утешителя. И решила, как видно, твёрдо. И наступление повела в мою сторону. Да, да, не удивляйтесь. Я хоть ростом и не вышел, плечами тоже далеко не Сеня, но... что-то заметила она и во мне, ещё и не нюхавшем женской плоти. Впрочем, как я понял, Дусе наплевать, нюхал я или не нюхал, она решила – и всё тут.

Повела хохлушка Дуся, моя бывшая наставница по тапочкам и бывшая зазноба Феди Бруля, наступление по древнему неотразимому правилу: любовь мужчины идёт через брюхо. Стала она масла хлопкового в мою кашу подливать и приговаривать: «Ось, ишь, хлопец». Потом, обнаружив, что в ближнем болоте обитают утиные выводки, и утята уже подросли, стала бегать туда, изловчившись добывать силками из конского волоса. Приготовленную дичь делила на три порции: бригадиру, себе, и, конечно, мне, избраннику своему. Приговаривала, чтобы все слышали:

– Хлопчика кормить надо, чтоб рос и чтоб старательно робил...

Под словом «робил», понятно, старая соблазнительница (а она мне казалась старой), что имела ввиду. Уж никак не работу на сенозаготовке, до которой ей было начхать.

У хлопчика уши горели. Однако уплетал хлопчик утятину за милую душу. Честно сказать, он, этот хлопчик, ещё не совсем догадывался, что от него требуется в дальнейшем, какая плата. Точнее, догадывался, но лишь туманно, туманно.

И однажды «догадался» вполне. Она тихой кошкой среди ночи, когда хлопец, ухайдаканный работой на мётке стога, дрых, раскинув члены, вползла и навалилась пышным телом. А в этот самый момент хлопцу приснилось, будто по малину отправился он и на медведя нарвался и медведь на него насел. Завопил хлопец во всю моготу так, что лошади в темноте отозвались тревожным ржанием. Бедная Дуся выскользнула, ошалелая, наружу. Куц, разбуженный шумом, пришёл, заглянул в шалаш, осветил фонарём:

– Что тут? Испугался чего?

– А? – не понял я, окончательно проснувшись.

– Кричишь-то что? – спрашивал бригадир. – Блажишь...

– А-а... Да ничего...

Утром Дуся до общего подъёма заглянула со смущением на широкой физиономии:

– Халатик-то отдай, чертёнок пужливый.

Дусин халат, пёстренький, ситцевый, обнаружился действительно на постели у хлопца. Он долго не мог сообразить, как эта принадлежность женской одежды оказалась тут. Он принялся думать и вертеть головой, и

только после этого пришла ему разгадка, какой это был ночью медведь и какая малина...

Настырная Дуся не отступала от своего намерения овладеть хлопцем, тем более, что утята в болоте ещё оставались – не все были переведены в жаркое. Древняя поговорка, что где сытная еда, там и горячая любовь, кажется подтверждалась.

И это было большой бедой для хлопчика. Чем сытнее и жирнее кормился он, тем чаще находил на него дурной туман, отнимая силы и волю. Даже малое трение во втоках тесных штанов вызывало сладкое возбуждение. Не помогало и обмывание в холодном, почти ледяном ключе. Укрывшись за зелёными плотными кустами, спускал до колен штаны, набирал в ладони стылую прозрачную тугую воду и лил на набухшую розовую головку. Однако головка не падала, наоборот, твердела, делаясь густо-фиолетовой, а убрать такое орудие обратно в ширинку становилось делом совсем не простым.

– Ты что, в штанах, что ли, там купаешься? Мокрый-то весь, – замечали старики. Они догадывались о томлениях парня по малине, советовали откровенно: – Дуську-то ты ублажал бы, чего робеть, житейское дело, она вон тебя подкармливает как. Не робей. Тогда и томиться перестанешь.

Хлопчик придумал игру. Он не мог решиться на первый свой шаг, на шаг мужчины, и потому придумал игру. Он знал, как только лагерь утихнет после отбоя и у бригадира в шалаше перестанут повизгивать весело девчонки, а старики, изработанные за долгий день, огласят территорию густым храпом, во внутренность его шалаша, откинув с угла камышовую занавеску, непременно прошмыгнёт она, Дуся, будет сидеть у входа и тихо дышать дабы не обнаружить в темноте своего присутствия. Потом она неслышно передвинется к его постели, начнёт осторожно шарить пальцами по его животу, на большее она не решается после того ночного конфуза, когда ему приснился напавший медведь и он, дурак, напугано заблажил на весь лагерь так, что прибежал сам Куц. Чтобы облегчить Дусину задачу, хлопчик раздевался донага, благо, что ночи тёплые, в шалаше даже душно, воздух парной, и лежал так лицом вверх. Конечно, он не спал. Сон никакой не шёл, не мог прийти сон, потому что мысль его была о женщине. Он притворялся спящим, едва слышал шелест камышовой занавески. Потом нервный озноб прошивал его от живота к голове и до пяток, это когда пальцы её касались его мужского достоинства и он, чтобы загасить в себе стон, начинал имитировать басистое всхрапывание. Нет, это не было реальностью, это было сном. Дуся оставляла его уже перед рассветом, а в летнюю пору, в сенокосную-то, ночи короткие, как у зайца хвост, она выползала также тихо, как и вползала, она верила, что он так крепко спит, а может, и знала, что притворяется, хитрец. А может, думала, что у неё это тоже не реальность, а сон, и все её поступки и действия происходили из этого. Он имел основание считать, что ничего у него не было с женщиной, тем более с этой, которая ему казалась несовместимо старой и толстой, и

относился к ней так, как прежде относился. А у неё было основание думать, что хлопча она подкармливает лишь потому, что хлопец мал росточком и ему надо расти, и чтобы работу он мог делать наравне с мужиками.

К ручью остужаться хлопец уже не бегал, однако эротических видений на протяжении дня у него не стало меньше, даже больше, потому что ночные впечатления окатывали голову и всё тело. И с нетерпением ожидалась очередная ночь, в которую он также притворится спящим, а явившаяся из тёплого мрака тёплая женщина будет производить сладкие действия...

Впрочем, он и не знал, реальная женщина ли то являлась или вызванная воспалённым его мозгом бесформенная желанная плоть.

Природа требует исполнения своих жёстких законов, и противиться ей – дело безнадёжное, показывает опыт миллионов лет.

Поразительно, в русском разговорном языке не существует слов, которыми бы можно было не стыдясь, выразить половое томление обеих сторон, да и само томление, всю эту истому, весь этот огонь, возникший стихией внизу живота кажется стыдным, недостойным образа человеческого. Глагол «ебать» относится к категории самых, самых похабных и матерных и постыдных.

Через много десятилетий, когда хлопец станет глубоким стариком, в русский язык влетит округлое, серенькое, бесстрастное, инородное слово – «секс», его, это неживое слово, никто не будет стыдиться произносить, этим термином запестрят все серьёзные газеты, будут заголовки: «Государство и секс», «Школа и секс», «Экономика и секс». Бесцветное слово «секс» в понятии лингвистов – синоним эмоционального слова «ебля». Но это не так. Не может оно быть синонимом, коль стылое оно, неживое. Да и чего смущаться произносить его людям, коль оно не выражает ничего того, что должно бы выразить.

Возникает прямое подозрение: а может у той цивилизации, откуда это слово явилось, и нет, не бывает этого состояния, что хлопец вот переживает?

Через много десятилетий интимные отношения полов из категории стыдных действий, что непременно надо скрывать, прятать во мрак, среди отроков и юношей, перейдут в категорию позволительных действий, более того, в то, что можно даже афишировать, не боясь осуждения со стороны общественного мнения и объявлять: «У нас с ней сексуальная связь». И девчонка, женщина, дама, не шокируясь, будут говорить с тем же внутренним спокойствием то же самое: «У нас с ним сексуальная связь». Но по-русски никто и тогда не скажет, ни в романе никак не напишет, меняя слово «сексуальное» на слово «ебальное», в манере как бы непристойной: «У нас с ней (с ним) ебальная связь». Почему непристойное-то? И между тем только сумасшедший может допустить, что когда-то газеты станут печатать заголовки: «Государство и ебля», «Школа и ебля»...

Однако, оставим раздражительное философствование.

Повторим лишь, что интимные проблемы, мучившие хлопца, относились с точки зрения утвердившейся морали к разряду непристойных и он не мог этой непристойности в себе не скрывать, и перед собой не скрывать, и перед общественностью в лице ээков, его окружающих.

И захотелось мне при всём этом молодых картошек. Точнее, всем захотелось, а кому первому, непонятно. И кто подал инициативу? Кто же, кроме бригадира может.

Итак, жизнь в сенозаготовительном лагере продолжалась, хотя и с несколько иным эмоциональным окрасом, но продолжалась в прежнем порядке. После подъёма косьба по росе, потом завтрак у Дуси, после завтрака одно звено шло на сгребание сухих валков, другое же – на метку. До полудня. Потом обед – Дуся стучала о подвешенное железо обухом топора. И, если погода не мешала, после обеда снова та же грёбка, та же мётка – до захода солнца, до темна.

Подгоняли нас приезжавшие опера, они говорили, что метеорологическая сводка на следующую неделю неблагоприятная.

Гнал темпы и бригадир. Дуся жаловалась на отсутствие достаточного провианта, из которого она бы могла готовить бригаде полноценную еду, соответствующую физической нагрузке рабочих.

– Седлайте лошадей, – Куц однажды отдал распоряжение, обращаясь к деду Спиридону и ко мне. – Езжайте по той вон дороге, километрах в трёх-четырёх за мостом, будет большое картовное колхозное поле, накопаете немного. Возьмите с собой пару матрасовок.

Вот уж Дуся возликовала, когда молодая картошка ей была доставлена. Сотворила она блюдо отменное: картошка с грибами. Особый деликатес.

Не только для ээков деликатес, но и гражданам на свободе, каждый это знает. Жарила она с картошкой грибы, в которых в берёзовом лесу не было недостатка.

Всё было бы ладно, если бы мужики не вздумали повторить поход на картофельный промысел – на этот раз уже без вёдома бригадира. В компаньоны Спиридон взял меня и ещё трёх своих товарищей, таких же, как и он, пожилых мужиков – Труфанбека, Осипа и Давыда. Такая вот была сформирована команда.

– Чечевичный суп, чечевичная каша в горло не лезут, – жаловались старики. Они пробовали, по примеру расторопной Дуси, добывать на болоте утиный молодняк, но куда им с их ревматизмом-то.

Татарин лет шестидесяти по имени Труфанбек (его звали Трофимом), смастерил из гибкой, росшей в логу, черёмухи лук, пускал стрелу вдогонку сизым зайчаткам, веером выбегающим из-под литовки в высокой траве, не попадал, над ним смеялись, Трофим сердился и как мог, защищался.

– Заяц дурной, криво бежит.

– Эх, Трофим, кривой у тебя глаз! – говорили мужики.

– Мой глаз не кривой, это зайчишка негодный, криво бежит.

– Скажи, Трофим, это твои предки нашего русского Ермака убили?

– Ермака убивать надо. Он пришёл татар убивать, а татары его сами убили. Татары мирный народ, соседей не воевали. Русские пришли в Сибирь воевать.

Трофим отбывал срок за то, что имел четыре жены, последняя была несовершеннолетней.

– А повариху Дуську взял бы в жёны, а, Трофим? – поддевали его.

– Дуське надо много мужиков, одного мужика мало, – рассуждал Трофим и хитро глядел на повариху.

Едва сгустились сумерки и мы пошли. Каждый со своей матрасовкой. Пешком пошли. Далеко ли тут. По знакомой-то дороге. До моста, а потом за мостом немного – вот и картофельное поле. Ухватывай обеими руками ботву – а она-то, ботвища, выросла ядрёная – дёргай, и вот они, клубни, вывернулись наружу.

К тому же луна выкатилась из-за края земли, дорогу видно. Шли мы, не особо торопясь. Луна выше и света больше. Прежде-то мы со Спиридоном промышляли в безлунье. Подслеповатый Спиридон выбирал картофельные кусты на ощупь. Сейчас он был проводником – впереди шёл. Мне он забегать вперёд не позволял – как же, старший группы. Мне отведено было идти позади всех. За Спиридоном же, немного поотстав, шли Труфанбек, Давыд и Осип. Негромко переговаривались. Друг друга называли по имени. Я вообще не знаю, чтобы эзки звали один другого по отчеству – по имени или по кличке.

Все шли некрупными шажками, неторопко, раздумчиво, несколько устало – как же, день целый отмутолили.

– Оно, конечно, так, – произносил Давыд в подтверждение каких-то своих мыслей.

Через какое-то время подавал голос Осип:

– Чего же оно иначе-то, так, так.

Впереди кашлял приглушённо Спиридон. Кашлял он подтвердительно: так, так, дескать, как же иначе-то.

Спиридон, авторитетный старик, не принимал вольностей Куца и Сени по отношению сожителства с Ольгой и Аней. И ему позволялось иметь своё мнение, терпел. Им бы этих девок-то прутом по голому заду, говорил он, а они вон что. Какие бабы с них теперь будут? Никакие. Пустобрешки. Изначально как полагалось? Изначально Бог дал бабе тело и тут же к тому дал совесть и стыд, чтобы эти самые совесть и стыд сопровождали её, были неотступно при ней, при бабе-то. А баба где-то потеряла и совесть и стыд. И теперь вот одна плоть беспутная. Живёт плоть, сраму набирается, господи, греха разного.

Забавно мне было, как кружились над нашими головами летучие мыши. Пролетела одна поперёк, вернулась и опять туда же. Воздух от лунного света сизый, густой, будто слоями. Летучие чёрные крестики едва не задевали наших лиц. В деревне у нас водилось крылатых мышек много, они залетали в сенцы и под жердяной крышей висели гроздьями.

Трофим отмахивался маграсовкой. По его поверью эта тварь нечистая, беду навлекает. Так оно и случится – беда будет. В кустах, рядом с дорогой, застонала сова, готовящаяся к ночной охоте.

А вот и пришли. Картофельное поле лежало широко. Старики остановились. Для начала закурили. А покурив, приступили к делу. Какой куст крупнее – видно под лунным светом. Колхозное добро. Значит, ничьё.

Я зашёл чуть левее. Старики наоборот – правее. Помянув каждый своего Бога, они принялись за дело. Я тоже принялся.

Но едва я вывернул первый куст, как услышал крики. На меня набегали какие-то люди, возникшие неожиданно среди поля. Человеческие фигуры, набегая, размахивали какими-то предметами, кажется, вилами.

Я догадался, что влипли мы. Инстинктивно присел, чтобы укрыться в богатой ботве. Однако нет, не укроешься. Обнаружен. Я метнулся скачками к лесу. Путаясь в чащобе, скатился в тёмный сырой овраг. Тут затаился. Прислушался. В груди стучало, как молот по наковальне. В голове мысли – как воробьи в тесной клетке. Не хватало, чтобы на таком деле погореть. Нелепее и страшнее трудно представить.

Если поймают, то... Сразу по двум статьям: нахождение за пределами определённой режимом территории, значит, побег, и кража общественного имущества. Десятка верная. На мальчишество скидки уже никакой. Скоро шестнадцать – совершеннолетний по лагерному счёту. Не малолетка.

Но... голоса уже слышались в отдалении. За мной, значит, не гонятся. Пронесло. А пронесло ли? Если стариков тормознут, то на меня всё равно опера выйдут, это им раз плюнуть. От такого предположения всё во мне опустилось и застонало, как в подрубленном дереве. Вот тебе и красноармейское училище. Десятка верная. Мама не вынесет удара.

У моста я стал ждать. Надеялся, что мои компаньоны не такие уж простодыры, не из простокваши сделаны, не дадут себя взять и скрутить, сумеют улизнуть. Им ведь тоже будет накрутка к сроку. И уж вряд ли несчастные доживут при ужесточённом режиме до свободы. Понимают ведь, поди.

Ага, показался силуэт, приближающийся обочиной дороги. Это был Труфанбек.

– Трофим! – окликнул я снизу, когда Труфанбек взошёл на мост.

– Что кричишь? – остановился он.

– Остальные-то где?

– Ты бы мне сказал где. Убежали, наверно. Кричать зачем?

– Нет, – сказал я. – Вперёд не убежали. Давай подождём.

– Давай. Только не кричи.

Труфанбек спустился ко мне под мост и, присев, трудно задышал, попробовал свернуть самокрутку, но не смог, руки у него тряслись. И у татарина вот нервы: не хочется дополнительным сроком обзаводиться.

– Ты как ушёл-то? За тобой разве не гнались? – выпрашивал я.

Татарин не отвечал, продолжая свёртывать самокрутку. После выяснится, что его изловили, но он, сильный и рукастый, смог отбиться.

Остальных мы не дождались. На стан вернулись вдвоём. Стан был объят покоем. Оставалось ждать утра, когда разрешится тяжёлая ситуация. Сочный лунный свет заливал поляну. Конические вершины шалашей казались серебряными. Я постоял под берёзой, прижавшись лбом к прохладной бересте.

У меня с детства такая блажь: доверять избранной берёзке свои тревоги. Вот и тут, на стане, у меня была своя берёза, она забирала мои тревоги и наделяла моё тело своей силой. Дерево уходило своей вершиной к луне, и у него было очень много силы, это я знал.

Накрутят? Не накрутят? – билось в голове.

Утром ситуация разрешилась, но не в нашу пользу. Куц обнаружил, что троих недостаёт, сменился в лице. Построились с литовками на плечах, чтобы идти на косьбу по росе, а троих нет. Тех самых, которые вели свои прокосы вслед за Сеней. Куц велел мне заглянуть во все шалаша, не дрыхнут ли где? Потом сам ещё заглянул. Нет. Покричал зычно так, что отозвались окрестности. Никого.

– Наверняка кто-то знает, где они. Кто? Кто знает? – Куц был страшным и вместе жалким.

Я, каюсь, не мог не рассказать. Куц, выслушав, покрылся каплями пота, распорядился сидеть мне в шалаше и никуда не высовываться, пока не подъедет за мной опер. Дуся заголосила навзрыд: «Ой, лихоньки!»

Но тут подъехали дроги с колхозным председателем, мы его не раз видели, этого человека в гимнастёрке с костылём. Колхозники тут недалеко тоже вели сенозаготовку. На дрогах вместе с председателем восседали и наши субчики – потерянные мужики: Давыд, Осип и Спиридон. Слезши с повозки, они суетно и угодливо посемили к берёзе, взяли каждый свою висевшую там на суку литовку и покорно, побито встали на своё постоянное место в строю.

– Куда эт вы? – рыкнул на них Куц. – Накуралесили! Сначала разберёмся. Отойдите! Вы не достойны быть с нами вместе.

Начались переговоры сторон. Для этого наш бригадир и колхозный председатель отъехали на дрогах к околку и там у них был продолжительный разговор, мы с расстояния определяли, какой у них там трудный разговор.

Потом Куц махнул рукой, веля нам всем идти за ним. А пошёл бригадир не в ту сторону, где был наш покос, а в другую совсем сторону, где был покос колхозный.

И весь день мы, провинившиеся зэки, преступники, гады и негодяи, осмодеи и безголовые дураки (по определению здравомыслящего Куца) работали на колхозном покосе. Выкосили широченную луговину от края леса до болота.



Ах, как умеют косить старики! Дело, впрочем, не в умении, а во вдохновении. Как они косят! Литовки, отбитые с вечера и приправленные оселком поют в росной траве. Нет, это не литовки поют, это старики поют. Вжи-ик, вжи-ик... В помолодевших, преображённых лицах вдохновение, невесть откуда вдруг берущееся. И стариками их назвать уже нельзя. Глядят на них вон девчата игриво, и обращаются: «Трофимчик», «Парамончик» и т.д. Что может сделать с людьми работа, а! Да это для них вроде уж и не работа, а нечто такое, чему я вот не знаю названия. А на перекуре старики заводили разговор, какое сено для лошади (пырей, он грубоват), какое для коровы (метлюх, он жуётся хорошо), а какое для овцы (где больше листа), и опять же, если мясо от овцы взять хочешь на продажу и если на шерсть, опять же тут, дескать, думать надо, какое сено. И т.д.

Старики не одобряют, что девчата наши бегают в одних трусах и говорят, что зверь оттого волосатый, что стыдно ему ходить нагишом, вот и помог ему Бог обволоситься, а бабе, видать, и не стыдно. Вспомнили, как одну девку в деревне белочехи к себе в тайгу утащили, она оттуда через неделю пришла. Никто уж из деревенских парней не гулял с ней после того, она уехала в другую деревню, где про неё не знали, там замуж вышла за парня работающего, трезвого, детей нарожала. И что вы думаете? А то, что все ребятишки вышли порченые. Руки, ноги есть, а вот порченые. К тому этот смысл, что коль мужики в твоём причинном месте побывали разные, не след детей рожать, потому что порченые будут непременно. И замуж выходить не след, так считают старики.

Весь день было ясное небо, только на северной стороне, у самого горизонта, держалась кучка тёмно-фиолетовых облаков, словно, словно там она, эта кучка, зацепилась за край земли и не могла оттого стронуться. Явно дождевые облака грозили испортить сенокос, но дальше угроз дело не пошло на радость нашу.

Вечером, уже при сумерках, опять появился колхозный председатель,

он привёз и сбросил с коляски возле кухонного котла на землю несколько кулей с картошкой. Со старой картошкой, свежую колхоз ещё не копал. Берёг колхоз свежую-то картошку, пусть ещё подрастёт.

– Ешьте на здоровье, – сказал председатель.

– Спасибо, – смутился Куц, пряча глаза. И старики наши тоже в смущении задвигали бровями. А уж когда председатель сказал старикам спасибо за старательную косьбу на луговине, тут уж и вовсе потеряли старики самообладание.

Так был исчерпан инцидент. Так договорились Куц и председатель. Решили конфликт миром. Опер приезжал, замечаний никаких не сделал, значит, пронесло.

Но, оказывается, не совсем пронесло. И это выяснится уже тогда, когда вернёмся с сенокосной страды в зону. Опера на то и опера, чтобы

всё разноухивать. Повезло лишь в том, что разноухал как раз мой знакомый опер Седов. Он сел со мной беседовать по всей моей биографии.

– Так, так...

Я тихо, с боязнью неотвратимой беды, рассказывал, а он молчал и глядя в сторону, в какую-то свою точку, повторял тихо и сухо:

– Так, так... Без карцера, всё-таки, тебе, Анатолий, не обойтись. Без карцера нельзя, на твою же пользу, чтобы узелок ответственности в твоей голове на будущую жизнь завязался, понимаешь. И получишь на полную катушку...

Куц на это привёл свои доводы по спасению цивилизации: если осот в огороде не дёргать, то весь огород пропадёт, а если людские головы не пропалывать, то пропадёт общество и вся человеческая цивилизация. А мне-то какая забота об общечеловеческом!

И тут же, вскоре после отсидки в карцере, переведён я буду во взрослый исправительно-трудовой лагерь, расположенный, как я уже говорил, по соседству. Бесконвойный режим за мной сохранится, слава Богу и слава операм, но сохранится только в пределах одного маршрута – до ближайшей железнодорожной станции. Возить конным транспортом уголь со станции в котельную кожфабрики – такая моя новая функция.

## ОПЯТЬ ПОД КОЛПАКОМ

Что значит возить уголь в котельную фабрики? Это значит: подвергать себя каждодневному нервно-психическому встряхиванию, по учёному – стрессу. Нет, не в самой возке угля заключена эта напасть. Возка угля – дело простое, открытое. Поехал на товарную станцию, на угольный склад, набросал лопатой ящик наравне с бортами и – ну, савраска, трогай. Дёрнул вожжами, понукал, поехал. К котельной, какая в подвале фабричного корпуса, подъехал, развернулся, спрыгнул, поднатужился плечом и брюхом, опрокинул ящик, и опять гони на станцию, понукай вожжами, дёргай. Больше рейсов – тяжелее твоя пайка. Меньше рейсов – легче пайка. Принцип выживания.

А напасть-то в другом. Непременно к тебе кто-нибудь из фабричных эзков «подканает» и, показав из-под полы товар, молвит вкрадчиво, но твёрдо: «Бери, привезёшь то, то и ещё то». Помотаешь головой, скажешь: «Нет, не могу, запрещено мне, усекут, ошмонают...» Ну, не успеешь развернуться, как уже и вожжей не будет на месте, и подпруга окажется порезанной. Урканы это могут мигом. А то и ещё хуже: в повозку сунут лоскут какого-нибудь пустякового товара в свёртке и тут же на вахту сообщат: дескать, общите, возчик у нас на конвейере товар слямзил, повёз. Общут, конечно. И, конечно, найдут. И всё: кончилась расконвоированная вольница твоя. Становись в колонну и топай под оскал зубов лютого овчара. Ну, а если не воспротивишься, пойдёшь на компромисс, тогда... тогда лучше. А лучше ли? При выезде разве не шмонают на воротах? Шмонают. И при въезде. Как же быть? Это уже чисто твои личные проблемы, как

словчишься. Товар принять, вывезти с объекта, на воле обменять на другой товар и провезти – вот твоя задача. Такова традиция, таковы неписанные законы: бесконвойные на то и есть, чтобы помогать жить подконвойным, в первую очередь крутым уркам. Не справляешься, умишка маловато – дуй опять под конвой, на твоё место явится более смышлёный. Вот такова закваска. Выживай, браток. Выбор не велик.

Ещё будучи в Бердском исправительном комплексном лагере (как давно это было! Ей-ей!), когда я был в бригаде моего спасителя дяди Степана и обитал там, в сушилке, пропахшей сырой и прелой шерстью изношенных пимов, пропитанных отжившей, мёртвой человеческой плотью, мне попалась брошенная, чем-то запачканная, книжица с выдранными страницами, без обложки. В ней было про оленей. Про то, как олени совершают сезонные миграции. Впечатление не выходит у меня из головы. Бердск, дядя Степан, добрейший дядя Степан (такого бескорыстного наставника мне будет недоставать всю жизнь), похоронная бригада, ночная сушилка, и даже мой лагерный товарищ Миша были давно, затягиваются образы пеленой, теряют очертания, а вот впечатление от тех рваных книжных страниц набухает, проявляется явственнее. Не с того ли сформировалось у отрока мистическое отношение (поклонение) к печатному книжному тексту, на всю жизнь такое отношение?

Картина через ту книжицу воспроизвелась мощная. Треугольником, гигантским упругим косяком, идёт оленьё стадо, сотни тысяч голов, плотно бок к боку, лавина, поток – растянулась вся эта стихия на многие километры.

В голове косяка вожак, он вытянул вперёд голову, раздутыми ноздрями, почти вывернутыми до крови, он внюхивается во встречные ветры, движется смелыми, решительными прыжками, за ним сильные быки, его команда.

Река на пути, гора со скалами – всё преодолимо. Живой олений поток неостановим. Впереди цель. Туда, туда, за горный хребет, там обильные ягелевые пастбища. Нельзя ведомому в пути отвлекаться от главной идеи – вперёд, в мозгах у вожака одно – вера в преодоление, эта вера как импульс передаётся всем, всем, всем в стаде.

Ослабнувшие отстают, выбиваются из сил. Глядя с тоской вслед стремительно и неотвратимо удаляющемуся стаду, они не кличут о помощи, не блеют, лишь расширенные в ужасе глаза не могут сдержать слёз на ветру, стекающих по усохшей морде. Отставшие понимают, как и понимают те, кто ушёл вперёд, что иначе нельзя, только так, только так, так. Возникшие проблемы это уже не проблемы оленьего стада. Это проблемы и функции уже того звена животного мира, которое идёт следом вон, следом. Также мощно идёт, накатом сплошным, дерзко, со своим вожаком... Волчья стая это. Она решает проблемы отставших оленей. За волчьей стаей следуют тьма-тьмущие стаи чёрных ворон и прочих пернатых хищников-падальщиков, у них своя функция, свои инстинкты...

«Так это же модель человечества!» – задохнулся я тогда от догадки.

Люди скопировали себе эту модель из совокупной жизни зверей, живут по такой модели миллионы лет. И что же? А то! Мы, которые в лагерях, в колониях, мы – отставшие. Все другие, кто сильный, ушли. У них цель высокая.

И то, что моими проблемами занимаются волки серые, беспощадные, никак не берущие мои частные интересы в свой расчёт – это же нормально. Совсем нормально. В стихийной жизни не может быть частных интересов.

Отставший олень ничего не может противопоставить волчьей стае. А если бы что-то смог противопоставить, то это было бы нарушением в глобальной цепи жизни природы. С точки зрения высшего смысла это было бы безнравственно.

А я, мирный травоядный, в своём положении что могу противопоставить тому хищному зверю, которое преследует меня, отставшего? Тривиальный, однако, вопрос. Но у меня же надежда! У меня надежда воспрянуть. Воспрянуть и догнать тех своих сверстников, какие на свободе где-то идут к высокой цели.

Мозговые свои извилины могу я противопоставить, у ослабшего оленя их, извилин, нет, а у меня-то они есть, вот в чём основательная разница.

Через полвека распадётся Советский Союз и люди, лишённые способности держать ориентир в социальном и политическом пространстве, бросятся в сторону, противоположную той, куда прежде шли-бежали, в отставших окажутся сто миллионов российских граждан, передние будут ломиться вперёд с налитыми кровью глазами, а задние корчиться в муках по всей территории страны. «Только так выживем», – будут успокаивать передние. А обречённые задние ряды, утерев волю, будут с ними соглашаться. Ситуация, конечно, не сравнима с оленьей. У людей будет много драматичнее ситуация.

Я отвлёкся на будущее. Бог с ним, с будущим. Разобраться бы с сегодняшним, если позволят извилины в голове.

Вот я, оказавшись на дворе фабрики и, едва разгрузившись, обнаруживаю направляющегося ко мне колониста. Фигура плюгавая, физиономия пройдошного плутня, глаза резкие, как лезвия. Это Гуфырин, по кликухе Гуфа, из 6-го спального корпуса он, из 4-й бригады. Что ж, надо идти на контакт, пока сбруя на лошади не изрезана, от Гуфы можно ждать всего.

Оглядываюсь на окна фабрики – никто, кажется, не зырит. Киваю: согласен иметь дело. А сам оттесняюсь под навес. Гуфа идёт за мной. Беру товар, наспех исследую его качество. Впрочем, плохой, низкокачественный, низкосортный товар, тем более туфту, здесь не предлагают. Закон. Можно положиться. Такова традиция. Но всё равно, для порядку, посмотреть-то надо. Это может быть готовый к шитью полный крой пары сапог или туфель. Шикарнейших сапог! Шикарнейших туфель! Мягчайший хром. В горсти сжимается. Может быть набор одних подошв. Отменные подошвы.

Толстые, буро-коричневого цвета, гибкие, скрипучие. Из кожи крупного быка. Бывают и лосиные подошвы, это уж вообще. Носить обувь из такого классного материала мне никогда, конечно, не приходилось. И оценивается это добро – «ого-ого!» Десяток пачек махры или целых пять (пять!) пачек кавказского чая. Кто на воле способен заплатить такую цену! Но хозяин товара готов скостить, он нервно-натянут, опасается, что я вдруг пойду на попятный. А потому говорит: ну, не обязательно кавказского чая, а любого можно, и не пять пачек, а и меньше.

В общем, торг уместен.

– Железно, – говорит Гуфа, подытоживая торг.

– Железно, – соглашаюсь я.

Но как охмурить на вахте досмотрщиков? – задача сложная. Архисложная задача.

На вахте знают всё, где и что зэки могут прятать. С фабрики попутно я могу везти мусор, нагребя его полный ящик, таким фабричным мусором накрыть товар. Однако, бесполезно. Вахтовые так перетрясут, протычут своими длинными стальными щупами весь мусор в ящике, что и иголку найдут. А самого тебя облапают со всех боков, будто перед ними не человек, а мешок с соломой.

Приглядевшись, я обнаружил ихнюю промашку. Обнаружил, что не заглядывают они под седёлку и ещё под хомут со стороны гривы. Ну, понятно, какие выводы я сделал из этого.

А вот однажды я понадеялся на авось. И получил результат соответствующий. То есть, такой результат, который мне мог бы стоить опять же удлинения, крупного удлинения срока.

Да, кстати, надо сказать, что вахтовая охрана, если не вся, то в большинстве своём состоит из психологов. Позднее эти качества будут называть парапсихологией, а тогда о таком диковинном слове никто у нас и не слышал ни одним ухом. Чтобы проехать через ворота, надо думать о чём-то другом, но никак не о том, что имеешь при себе и чего боишься. Ну, например, думай о птичках-синичках или об ужине. Если не так, сразу же усекут, пригласят в отдельное помещение, где разденут донага. Так и скамандуют:

– Скидывай всё! Всё!

Я тогда не смог отвлечь свои мозги какой-то большой мыслью. Хотя мог. Ну, например, мыслью про то, оставят ли меня и в зиму возить со станции уголь или пошлют возить дрова из леса для поселковой школы. Об этом уже разговор был с прорабом, который заявил на разнарядке, что если не найдут вольнонаёмного возчика, то придётся в лес ездить за дровами мне. Вот об этом и надо бы думать или вообще ни о чём не думать, а просто насвистывать или громче кричать на лошадь.

– Ну, пошла-поехала... Зануда!

Я, конечно, насвистывал, и даже старательно насвистывал, вожжами в воздухе как бы беззаботно махал, бедную лошадку ни за что материл, но при этом мой мозг не был свободен от того, от чего он непременно должен

был быть свободен. И вахтовый охранник, по кличке Гусак, наблюдающий в окошечко, сразу усёк.

– Э-эй, ворота! – как обычно закричал я громко. – Открывайте же ворота!

Ворота не раскрылись. На крыльцо вышел охранник Гусак, на его лице блуждала подлая ухмылка. Это был не самый подлый и въедливый охранник, он нередко позволял себе пропускать нашего брата без шмона, на доверии.

У меня селезёнка опустилась. Однако я бодро, демонстрируя преувеличенное послушание, взбежал на крыльцо.

– Что при себе есть? – так же ухмыляясь, спросил Гусак.

– Ничего. Обыщите, – я сам себя старательно похлопал по карманам, по брюху.

– Раздевайся.

Я разделся по пояс.

– Пожалуйста, глядите, – я весело потряс рубахой, будто хотел вшей вытрясти, какие велись в достатке.

– Разувайся, – диктовал Гусак.

– Пожалуйста, – я сел на пол и стянул чуни. – Глядите.

– Раскручивай портянки, – не отступал Гусак.

Пожалуйста. Что особенного? Подумаешь! – я раскрутил портянки, они были у меня хорошие, из мешковины, мама прислала. Но руки мои уже предательски тряслись. И голос тоже ослаб. – Пожалуйста. Подумаешь.

– Потряси теперь портянки, – приказал охранник Гусак.

Я выжидал, оттягивая секунды.

– Потряси, потряси портянки-то, – повторял Гусак, ухмылка его становилась язвительнее.

– Пожалуйста, – надеясь на чудо, сказал я треснутым голосом.

Но чуда не произошло. Из портянок выпали и сильно, смачно шлёпнулись на пол хромовые заготовки. Хром был тончайший. Вложенный в середину толстых портянок, товар мог бы быть и незамеченным.

– Ну вот, видишь, – удовлетворённо проговорил Гусак и, оглядевшись, как-то суетно-быстро, очень быстро, убрал заготовки в стол, не став их разворачивать. – Одевайся. Я, оцепеневший от горя, ничего не видя перед собой, натягивал одежду, ожидал при этом, что сейчас из соседнего помещения явится за мной конвойный, там всегда есть конвой в резерве. Однако конвойный не пришёл, и мне было велено ехать. Ехал я, ничего не видя, заливаясь солёными слезами. Впрочем, солёные они были или пресные, я не ощущал. Ехал вслепую. Лошадь, умная, сама знала куда идти.

При возвращении в зону, на КПП, меня почему-то не взяли, чтобы увести в обрешеченный карцер. Из барака тоже не взяли. В столовую, на ужин, я не пошёл – не до того. Тошнило. Был страшный нервный озноб.

Я понимал, что я в глухом тупике, в западне, откуда нет выхода. Я понимал, что я обессиленный олень, отставший от стада. Клыки серого лаякают у моего горла. Уже не было смысла каяться и думать о том, зачем я на этот раз положил товар в портянки, а не как прежде – под седёлку. Понадеялся, что этот охранник не станет учинять такой глубокий шмон на выезде с фабрики. Глупый олень понадеялся, что серая стая пройдёт мимо, не заметит его, хромоногую, свернувшегося в ложбинке, в кустах багульника.

Бессонная ночь прошла в ожиданиях. Вот должен прийти в барак опер и меня взять. Допрос, потом кандей, следствие и потом, понятно, показательный в лагере суд. Когда добавляют срок, то все суды в лагере показательные. Утром, при выходе из барака, не остановил дневальный. Сегодня дневалил Кержаков, по кликухе Керж, толстый, медлительный. Пропустил. Обычно, если за кем-то что-то есть, дневальные останавливают. У них список есть. Меня этот пыхтун не остановил, а даже наказал: «Табаку, шкет, не забудь». И толкнул в затылок. Традиция: расконвоированные – добытчики табака для дневальных, они мнят себя начальством.

Я, глотая свежий воздух, побежал на КПП. Расконвоированные должны выходить из зоны задолго до общего развода. Я появился, ещё вахтовые охранники дремали, запершись.

– Чего это ты так рано? – недовольно спросил один, зевая, именуемый в зоне дятлом. Он и был как дятел долгоносый.

– Да ить работы много. И лошадь надо накормить, почистить. Как же, – отвечал я.

Дятел зевнул и почесал под шапкой.

– Курево есть? Ну, давай, давай, труженик, едрёна мать, – не то похвалил, не то осудил он, толкнув в спину.

Всё это было очень странно и неожиданно.

Три или четыре дня я пробыл в таком состоянии тревоги и душевного упадка. В состоянии этакого внутреннего озноба был, ожидая кандея. Возникла острая, как стекло, мысль: не ждать, а бежать. Вот оставить лошадь на станции возле угольного склада, а самому сигануть на подножку железнодорожного состава. Не всех же сбежавших находят. Вон Чуря, говорят, до сих пор не изловлен, гуляет, плюёт на всё и всех.

Вагоны стучали колёсами в пяти шагах от повозки, от меня, сидевшего на ящике. Потом я стоял на куче угля с лопатой. Вагоны мелькали. А я боролся с собой: прыгать, не прыгать? Поезд тем временем, мелькнув задними буферами-тарелками, уходил за поворот. С поездом улетала свобода.

Драматичность моего положения усугублялась тем, что зэк на фабрике, то есть Гуфа, давший мне свой товар под реализацию, встречая у котельной, требовал положенные махру и чай, угрожал поставить меня на счётчик. От Гуфы и его шпаны можно ждать всего. Что я мог промямлить? То, что вахтёр Гусак, сучара, наколол? Гуфа бы мне порекомендовал поискать

идиота в другом месте. Вывоз за ворота – это мои сугубо личные проблемы. Я сказал, что тот человек, житель посёлка, с кем я имею постоянно дело (а это сапожник из мастерской в посёлке), уехал на свадьбу дочери в город. Знакомого сапожника действительно не было, на мастерской висел замок, и появился он через пару дней. Я упросил, умолил его одолжить мне махорку и чай, он, добрая душа, всё понял и одолжил, при этом, конечно, не мог не втянуть меня в новую долговую яму: ящик угля вывалить задарма перед его домом.

Несколько успокоился я, когда на фабричных воротах наступило дежурство опять того же охранника и когда он, Гусак, производя обязательный шмон, похлопал меня по карманам бушлата, сдёрнул с меня шапку, проверяя, не несу ли я что в ней, в шапке-то, поддал лёгкого пенделя, спросил: «Цивильную-то бабёнку себе в невесты ещё не подобрал?»

Я догадался, что славный этот дядька Гусак никакого ходу делу моему по начальству не дал. После мне станет известно, что так поступают вахтёры в большинстве случаев: обнаруженный у кого из эзков при шмоне товар реквизируют в свою пользу и на этом – могила. А я-то, бестолковый, переживал!

С фабрики, с этого минного поля, меня вскоре убрали, и вот каким порядком это было, расскажу.

## **ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ – МОЙ НОВЫЙ ХОЗЯИН**

Зима входила круто. Мама писала, что, как только скопит денег на дорогу, так приедет, привезёт толстые шерстяные носки и новую телогрейку, которую ей выдали за пропавшего без вести под Сталинградом Васю. Она писала, что всем семьям с нашей улицы, кто проводил своих под Сталинград, поступили такие извещения: без вести пропали. Я отвечал, что не надо, мама, ко мне ехать, тратиться на дороге, не надо, у меня всё хорошо, тут всё, что необходимо, выдают, я стараюсь перед начальниками и начальники не обижают меня. Так отвечая, я мало врал, мне ведь действительно был выдан толстый, на вате, бушлат, не новый, конечно, прожженный спереди и сзади, но носить ещё можно, достаточно ещё тёплый. Мама, несмотря на мои возражения, всё равно писала, что непременно приедет, как только соберёт деньги, повидаться чтобы. И всё-таки мама не смогла приехать – деньги ей взять неоткуда, но обещанные две пары носков шерстяных, самовязанных, прислала, одни из которых я тут же отдал нарядчику, он занарядил меня на работу попроще – возить уголь не в фабричную котельную, а в кочегарку школы, я обрадовался, риску залететь меньше.

А вскоре пришёл в нарядную главный лесничий, дядька с жёлтой бородой, и ультимативно заявил, что он не отпустит из лесосеки в зону ни одного воза дров, если зона не будет возить дрова в его лесничую контору. Нарядчик, в тот день замученный заказчиками, посмотрел сначала на меня, потом на злого бородача и произнёс окончательно:



– Забирай вот его, и – до свидания.

– А разве, э-э... покрепче разве никого нет? Там же брёвна наваливать – огорчился лесной начальник, окинув взглядом мою недоросшую фигурку в огромном жжёном бушлате.

– Пока нет, – отмахнулся нарядчик, считая на этом разговор законченным. – После на подмогу ему кого-нибудь могу подобрать, через недельку.

А пока справляйтесь как-нибудь, – добавил нарядчик.

В первый рейс бородач поехал со мной, он был с пустым рукавом – однорукий. Вообще большинство мужчин в посёлке были то однорукие, то одноногие – осколки фронта наблюдались кругом. Не столько, наверное, помочь мне поехал, сколько показать, где они, эти самые дрова.

Поехали мы парой саней, лесничий – звать его Фёдор Фёдорович – правил первой лошадей, передней, а я – задней.

Ехали часа два, минули две или три забураненных деревеньки. В заснеженном берёзовом лесу дровосеки поработали ещё осенью, эки, конечно, трудились, а сейчас тут только следы волчьих да заячьих на вырубках. Холмики голубоватого снега обозначали, где лежат раскряжёванные лесины, Фёдор Фёдорович распорядился:

– Вон с той кучи станем брать. Подворачивай.

И начали мы грузить.

Я накренил сани, чтобы они разводами-пялами подсунулись под кряж, а Фёдор Фёдорович снизу, встав на колени, накатывал, дело такое ему давалось не просто, при одной руке-то, с него скоро слетела вся бодрость.

Когда кряж оказывался пристывшим к земле, требовалось сначала выковырнуть, а потом уж накатить в сани.

Так мы нагрузили оба воза, стянули верёвками и поехали назад, отворачивая от пней, торчащих из снега.

Решился я узнать:

– Когда без вести на войне пропадают, это как?

– Это значит, бомба или мина падает прямо в точку. Всех, кто был в этой точке, их уж нет, разнесло, и искать нечего, – отвечал Фёдор Фёдорович.

Я думаю про Васю под Сталинградом.

Вернулись мы уже в сумерках. Фёдор Фёдорович вынес несколько вареных картофелин, завёрнутых в тряпицу.

– Вот, возьми, поешь. А завтра я с тобой сам поехать не смогу, извини, другие дела. Но не отчаивайся, я кого-нибудь с тобой пошлю. Понял? Найдём тебе помощника.

На следующий день, и верно, не поехал со мной Фёдор Фёдорович, не смог он мне и помощника сыскать, пришлось ехать одному, управлять сразу двумя лошадьми, то есть двумя подводами.

Всякое дело оказывается простым, когда его освоишь, это я понял в заводском цехе, когда пришёл туда неучем, и сварочный аппарат, и сварочные

работы казались мне непостижимыми, такими уж непостижимыми, что аж голова кружилась, особенно не давался мне поперечный шов на кожухе, у дяди Рудольфа же точечный шов выходил ровным, как по струнке, и контакт не горел, не брызжет расплавленным металлом, у меня же шов плясал, и от брызжущих искр спецовка горела синим пламенем, потом наладилось, работа перестала быть мукой, а спецовка гореть перестала.

И здесь та же сноровка, повод задней лошади привязываешь к передним саням и она идёт, верно, надо было сперва присмотреться, какая из двух лошадей лучше идёт сзади, а какая впереди, меринок, оказалось, тянет первую подводу назад, он вторым не годится, потому пустил я его вперёд, а кобылу привязал сзади, и она, умница, сразу пошла сноровисто и ходко, даже притормаживать её потребовалось, иначе бы разбила себе копыта.

О чём только не передумает голова, когда едешь в одиночестве такой вот длинной лесной дорогой, сидя в санях на подстеленных охапках сена, завернувшись плотнее в бушлат! Старушки в деревеньках, через которые пролегал мой путь, выходили навстречу и просили сбросить им с воза бревёшко, я сбрасывал, и старушки зазывали в избу, в благодарность давали вареных картошек и кружку молока, угощение на славу. Я поглощал, а хозяйка, скорбно вздыхая, делилась своей бедой: сынок на войне. У кого сынок на войне, у кого внучек.

Однажды Фёдор Фёдорович пришёл утром на конный двор и привёл мне напарника, слава Богу, не дохляк это был, а юркий, этакий крученный, плотный парнишка, аккуратно опоясанный поверх бушлата ремешком, в низко надвинутой на лицо шапке, из-под которой смешливо светились глаза, самих же глаз почти и не было видно, лишь зеленоватый свет из-под ресниц проливался. И также носа почти не было видно – пипочка торчала.

Был мороз с острым ветром и, вполне естественно, все люди на конном дворе кутались в толстые одежды.

– На трёх подводах езжайте, – распоряжался Фёдор Фёдорович.

Парнишка запряг пятнистую кобылицу, Фёдор Фёдорович суетился около, помогал нам запрягать: подхватывал одной рукой то шлею на крупе лошади, то дугу поднимал над стриженной гривой, он был за интересован в снаряжении по дрова третьей подводы, морозы-то крепчали, в домах холодало.

Парнишка вскочил в сани и погнал следом за мной, я был рад, что у меня теперь вот есть напарник, да к тому же, видать, сельский пацан, вдвоём в зимнем лесу будет не страшно.

Однако пришлось разочароваться. Как только доехали и стали нагружаться, вагами накатывать лесины, тут и обнаружилось, что парнишка-то совсем не парнишка, он оказался... девчонкой, да к тому же... это была та самая Ольга, которая с бригадой летом на сенокосном стане работала, и которую я терпеть не мог.

И она тогда отвечала мне тем же нескрываемым презрением, я был для неё не мужчина, а так – размазня. Самолюбивому властному Куцу очень нравилось, что я не терплю малолетку Ольгу, а она демонстративно не терпит меня, за это он приближал меня к себе и всячески выставлял меня в выгодном свете перед всей бригадой, если, конечно, я что-то явно не нарушал.

– Что же тебя на такую тяжёлую работу занаридали, провинилась, что ли? – спросил я, когда нагрузили все три воза и на пеньки отдышаться присели. Презрения к ней я не скрывал.

– А я сама захотела. Люблю, чтобы на лошадях, – отвечала она, конечно, не без вызова.

«Шлюха куцевская», – мстительно подумал я.

– В деревне, что ли, росла?

– Папа на ипподроме фуражиром был. С лошадьми я больше, чем с людьми, с ними интереснее, – Ольга подвязала под подбородком уши у шапки и пухловатое лицо её сделалось совсем мелким, с ладошку.

– Как же тогда в тюрягу, в колонию залетела, если с лошадьми всё?

– А это не твоего ума дело, – Ольга встала с пенька, взяла вожжи и тронула свою пятнистую кобылицу. Кобылица натужно вытянулась, сдвигая с места воз.

– Стой! Первым поеду я, мой мерин сильнее, – распорядился я.

Допустить, чтобы эта свистуха ехала первой, я, конечно, не мог. Чтобы унизиться-то.

Ольга не остановилась. При этом даже рожицу состроила.

Пришлось моему мерину догонять её кобылу. Мороз, державшийся с утра, резко опал. Не хотелось мне останавливаться на пути у знакомых деревенских бабуль, не хотелось, чтобы Ольга ведала о моих тайных коммерциях, о моих обменах – вы мне, добрые бабули, кормёжку, я вам – дровишки на двор. Собаки с ленивым лаем бежали за возами, они, привыкшие ко мне, как бы удивлены были тем, что лошади ни к какому двору не подворачивали.

Просить Фёдора Фёдоровича, чтобы он поговорил с нарядчиком, дабы в напарники мне выделили кого-то другого, не девчонку, было, конечно, бесполезно, резерв расконвоированного контингента очень ограничен, известно всем, потому нарядчик и ухом не поведёт.

## **СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА**

Тут надо сказать, что в самом начале зимы выпало мне встретить – вот чего не ожидал! – дядю Рудольфа, ну да, его самого, который на заводе, в заготовительном цехе – как давно это было! – был моим сменщиком и наставником по сварке на контактном аппарате.

Захожу в шорницкую, сидит мужик-шорник, что-то знакомое, смотрю с затылка и не соображу, мужик этот поворачивается и тоже глядит встречно на меня, то есть на вошедшее чучело – на мне-то несуразный бушлат по самые пятки, а когда человек поднялся и я увидел, что вместо ноги-то у него деревяшка, тут я, понятно, и заблажил во всё горло: «Дядя Рудольф!..» 83

У дяди Рудольфа задрожали руки, он подхватил очки, слетевшие на конец носа, а потом рассказал историю. На сварочном аппарате произошло короткое замыкание, аппаратура сгорела, ремонтировали не одну смену, на сборочном участке сколько-то дней сборщики простояли, не имея кожухов на конвейере, был сорван график по поставкам на фронт полевых радиостанций, следствие не учло изношенность оборудования, обвинили мастера Пашенского и дядю Рудольфа, первого отправили на фронт, в штафбат, а второго вот сюда – в шорницкую при конной базе.

Каждый день, вернувшись из леса, я забегал в полутёмную каморку, заваленную и завешанную хомутами, шлеями, седёлками... Дядя Рудольф к моему приходу готовил поесть – пшеничную кашу, а чаще картошку, приносимую сострадательными вольняшками, пёк он картошку пластиками, разложив по верху раскалившейся жестяной печки, посыпал растёртой солью, иногда капал несколько капель хлопкового масла. Вкуснятина!

– Ешь, ешь! – говорил дядя Рудольф. – Смотри, досыта наедайся. Сам-то я уже ел.

– Да я уж и так, – радовался я горячему ужину, а больше тому, что теперь вот есть тут человек, который обо мне заботится. Счастливый я. В Бердске дядя Степан помог мне выжить, здесь вот – дядя Рудольф.

Заходила в шорницкую и Ольга. Тоже уплетала подгорелые картовные ломтики.

Если нас заставал в шорницкой охранник Курицын (Курица), надзирающий за поведением бесконвойных на вверенных объектах, спрашивал, почему мы здесь, а не идём в зону, мы ввали: «Да вот, сбрую... в починку принесли, ждём».

– Ну, принесли и валите. Нечего шататься и расслаживаться, – говорил Курица, сам схватывал с печки обжигающие картофельные ломтики и вбрасывал в рот.

Я бежал в лагерь, Ольга – в свою колонию, вечерняя клочкастая тьма скрывала посёлок, все постройки оседали и приплющивались, всякие силуэты размывались, вот был человеческий силуэт, и уже нет его, вот была Ольга, и уже нет её.

Дяде Рудольфу надзиратели позволяли оставаться ночевать на рабочем месте, потому что инвалид на деревяшке и потому, что и по ночам он не спит, а чинит изремканную сбрую, в зону он ходил в три дня раз только отмечаться да взять у коптёрщика сухой свой паёк.

Дядя Рудольф, когда я один забегал в шорницкую, учил меня, зелёного, разбираться по-взрослому в женском вопросе. По нему выходило, что есть два типа женщин и два типа их поведенческих вариаций. Первый тип: родить детей и затем, как мать, раствориться в них без остатка. Другой тип: рожают детей, любят их, но растворяются в них не полностью, оставляют силы и чувства для себя лично, объясняют это желанием оставаться самостоятельной личностью. Дядя Рудольф говорил, что ему понятен первый тип, потому что

полное растворение в детях, в любви к ним и в заботах о них, как раз и есть высшая возможность полной мерой творить добро в жизни и оставаться при этом личностью (в самом факте растворения как раз и формируется личность, повторял дядя Рудольф), а во втором варианте, говорил он, всё это под большим сомнением, всё это от лукавого, от иллюзий и даже не от иллюзий, а от плохо скрытого внутреннего, душу распирающего (если есть душа, говорил дядя Рудольф), натурального эгоизма.

Я не мог предполагать, обдумывая эти вопросы (а точнее, и совсем не обдумывая), пригодятся ли мне эти поучения. Однако ничто не проходит, не оставляя зарубок в голове.

В декабре очень подвалило снегу, очень изрядно подвалило, дорога стала тяжёлой, сани грузили по всему пути, лошади уже не могли бежать, потому время в поездке сильно растягивалось, усидеть всю дорогу в санях – очень знобко, ноги, хоть и в шерстяных носках, уже на половине пути начинают стыть, сперва остывают пальцы, покалываемые иголками, потом пятки, потом вся ступня вдруг немеет, неприятное это ощущение, тут уж надо спрыгивать с саней и бежать за санями подобно собачонке, употеешь, опять садись.

Ещё сложнее стало в лесу. Идущий передовиком мерин, его Ольга окрестила Дружком, едва свернув с наезжей дороги, сразу же оказывался по брюхо в уплотнившемся снегу, пробивался он короткими прыжками, и так как сани оказывались чуть ли не на лошадиной репице, то создавалась ситуация почти непреодолимая, Дружок выворачивался из оглобель, до хрипа защемлял себе шею в хомуте, и чтобы лошадь не задушилась, надо было спешно распрягать. Кобыле – Ольга звала её Милушкой, – идти по проторённому следу проще, а уж Ольгиной кобылице, – Ольга звала её Пятнашкой, – идущей в замыкании, было ещё легче.

Так, тремя подводами, мы и пробивались.

Снежные надувы на кучках брёвен сравнились с общей белой гладью вырубков и чтобы обнаружить эти кучки под толщей снега, надо было долго лазить по вырубке, прощупывать шестом, ага, вот, кажется, нашли, и ещё вон там, где мелкие, одетые в куржак, берёзки, кажется, сохранился еле приметный надув, Ольга перекатывается по снегу туда – она учащённо перебирает пимами и почти не проваливается, а перекатывается – точно, там как раз ещё кучка.

Мой Дружок послушно разворачивается за девчонкой, то же самое делают другие лошади. В лесу, на вырубках, лучше позволить умным животным самим ориентироваться – реже на пень подснежный напорешься, понимают лошадки свою задачу: вывезти и не застрять, себя тут не похоронить в мёртвых снегах и нас с Ольгой не заморозить.

– Тпру-у! – кричит Ольга, когда ей кажется, что Пятнашка вдруг начала забирать вприпрыжку куда-то не туда.

Но «тпру» у неё не получается, губы застыли, получается «тпу-у» или вовсе из двух сдавленных букв «ту-у-у», кобылица становится и вовсе

неуправляемой.

В кучке брёвна и хлысты в два-три ряда, не больше, заготовители схалтурили, не стали стаскивать лесины со всей вырубке и делать одну большую кучу, возчикам было бы проще в одной кучке, и лошадёй не надо было бы мучить – кружить по всей вырубке.

Отыскав кучку под глубоким снегом, мы делаем... Первым делом – обтаптываем её, потом обтаптываем в снегу площадку для установки саней, потом уж подгоняем лошадей, и лишь затем приступаем к основному делу – к самой погрузке, вернее, сперва ещё находим подпорку и пристраиваем её под санный полоз, чтобы разводы имели нужный крен, я обычно беру на себя мужскую функцию – поднимаю сани и обеспечиваю им нужный для погрузки наклон, Ольга же спешит упереть в полоз короткую чурку, какая специа-льно для этого заготовлена и лежит в санях.

Ольга ставит упор в полоз в том месте, где мои руки, но бедро Ольгино вмиг опалает меня, дурака, жаром, мутнеет в голове, Ольга догадывается, но я овладеваю своим настроением, думаю: «Шлюха бригадирская», – она поворачивает лицо, улавливает в моих глазах неприязнь и тоже отчуждается, пугано отскакивает.

Начинаем накат брёвен, они стылые, облепленные льдистым снегом, катиться не хотят, никак не хотят, кряхтит Ольга, тужусь я, в брюхе больно – что-то рвётся. Дружок косит сочувствующим глазом назад, понимает, но чем он может нам помочь? – он переступает задними ногами, Пятнашка громко фыркает, лошадям вообще на морозе надо чаще фыркать, это прочищает ноздри, в потных ноздрях быстро нарастает лёд, это опасно для животных.

Бревно наконец-то осилено посредством рычага, поддалось и второе, приноровились мы: сперва забросить на сани комель, это главное, а другая часть сама пойдёт, лишь немного подправить, поддать и толкнуть.

Первый воз готов. Много грузить нельзя – по такому снегу лошадь не потянет, но и полупустыми ехать в такую даль – что скажет Фёдор Фёдорович? Что скажет нарядчик? Лошадёй, скажут, зря гоняете туда-сюда, пайка хлебная теперь идёт с кубатуры, а не с рейса, в том-то и дело, то-то и оно, об этом нарядчик напоминает.

Приходит мне, мужику, догадка: формировать окончательно возы не на вырубке, а на дороге. По два-три бревна свозить на дорогу, сбрасывать, а потом уж, на накатанном месте, формировать настоящие крупные возы.

Ольгина Пятнашка сплеховала: свернула меж берёзами и наткнулась на скрытый под снегом пенёк, Ольга пробует спятить её, лошадёй силится, но не может: сани назад не катятся.

– Ну, Пятнашечка, ну, хорошая. Ну, давай, ну, ещё чуть-чуть, – уговаривает Ольга, держась за уздцы и напирая покорную кобылицу назад.

Умная лошадка очень хорошо понимает необходимость того, что от неё просят, она почти садится крупом на передок саней, глаза закатила,

головой почти вылезла из хомута, оскаленная красная пасть дышит жаром. Но сани ни с места.

Я кричу Ольге с расстояния:

– Стой! Не мучь кобылу!

Подхожу и скатываю брёвна с саней в снег.

– Зачем? – удивляется нервно-возмущённая Ольга.

– И затем...

Облегчённые сани снять с пня – пустяки. Но погрузка заново да в таком неудобном месте – дополнительные колики в селезёнке.

– Раз-два. Раз-два, – вслух командую сам себе. И рычагом с одной стороны, с другой поддеваю. Когда командуешь – легче. Будто ты не один мужик тут, среди морозного, заваленного снегом леса, а с артелью мужиков. Девчонка не в счёт. Хотя и она ухватила за стяжок и подваживает, подваживает.

– Ну, Пятнашка, пошли, трогай, – берусь за вожжи.

Кобылица скачками пробивается к дороге, снег по грудь.

– Ну, давай, Пятнашечка. Ну, пошла, пошла! – радуется сквозь слёзы Ольга и заискивающе ловит мой взгляд. Зачем ей нужен мой взгляд? Дура!

Расстояние до твёрдой наезженной дороги сокращается. Вот уж и твёрдая дорога за берёзками.

Но... Что такое? Кобылица вдруг так рванула, что гужи слетели с оглобель и дуга упала в снег, в кусты.

Затравленно соображаю. Да ведь опять наткнулись на пень, ну да, вон, под снежным надувом, широченный пнище, в двух шагах от дороги.

Понимаю, что пытаться обойтись без вторичного сбрасывания брёвен с саней бесполезно, однако пробую. Перепрягнув лошадь, толкаю её назад, бедная лошадка опять бьётся, однако ничего у неё не получается, опять приходится скатывать брёвна в снег. А потом опять накатывать...

Чтобы восстановить силы лошадей, даю им по пучку резервного сена. Закусываем немного куском хлеба и сами, я гляжу на Ольгу, у Ольги лицо отёкшее, её на днях перевели во взрослый женский лагерь.

Тем временем день неумолимо идёт к закату, зимний день короток, уже давно не стучат по мёрзлому звонкому лесу дятлы, залезли в дуплы на сон, в пёрышки завернулись, пригрелись, лапки в брюшко втянули.

Воздух синее, такого же цвета становятся и берёзы, на санный след легли синие тени, как заштрихованные химическим карандашом.

– Ну, Дружок, давай. Ну, Друженька, пошёл. Хороший мой, тяни – уговаривала Ольга, так как теперь уже мой Дружок налетел на пень.

Лошадям тоже страшно оставаться на ночь в лесу, выходят по ночам на разбой волки. Мне думалось, что умные лошадки боятся не только волчьей стаи, могущей повстречаться в каком-нибудь логу; умные, должно, боялись, что вахтовая охрана может меня и Ольгу за столь позднее возвращение наказать лишением свободного выхода из зоны, то есть, снова поставить под конвой.

Я и Ольга некоторое время бежим за саними, не садимся на воз, лошадям и без того тяжело, деревню проезжаем безлюдную, лают собаки на морозе глухо и хрипло, в оконце знакомой бабули, куда я прежде заезжал поесть картошки с молоком, светится крохотный огонёк, должно, горит фитиль, смоченный в смальце, перед иконкой, у бабушки три сына на фронте, она молится за них.

– Ну, милые, скорее давайте, скорее, – молит Ольга. Но лошади и так рвутся, прямо чудеса, с такими возами, какие мы накрутили, переходят на рысь не только под гору, а и на угор – с разбегу, давайте, давайте, милые.

Ольга, пересевшая с заднего воза ко мне, на передний, глядит на меня выжидательно.

– А у меня руки околели, – наконец-то говорит она доверительно, почти шёпотом. – Можно я у тебя их погрею?

– Как? – икнул я.

– А вот так, – она разом проникает внутрь моего шабура и суёт под рубаху, под очкур моих штанов пальцы свои. Они вовсе не околелые, они огненные, обжигают. Я знал пальцы Дуси, но то было во сне, да, да, во сне, а тут наяву.

– А ты свои погрей, – сказала Ольга.

– Как?

– А вот так, – она высвободила одну свою руку, взяла мою и толкнула себе в пазуху под свитер, в стыдное, в самое сокровенное, известное лишь по фантазиям, сразу сбивчиво и жарко задышав. – А ты мне тогда понравился.

– Когда?

Мерин что-то понял и вдруг остановился. Мы не сразу заметили, что не едем – стоим.

Ольга весело засмеялась, так она смеялась в шалаше у Куца. Этот смех, это напоминание меня оттолкнуло. Будто вода на огонь.

– Поехали! – Я в сердцах ударил мерина вдоль всего бока прутом. – Шевелись, шевелись! Чего встал?

Дружок обиженно вздрогнул, мотнул протестующе головой, пошёл, но тут же снова остановился, подавшись крупом назад. Из придорожного леса донеслось многоголосое, этакое протяжное тьяканье. Да ведь совсем близко волчья стая. Звери не перерезали нам дорогу. Нападать на три подводы они, наверное, не решатся. Мы проезжаем благополучно.

Волчьи огоньки сопровождают нас долго, не отставая и не приближаясь, держа лошадей в напряжении, лошади то и дело сбиваются с рыси на галоп, есть опасность, что задняя налетит на передний воз и сломает себе ноги.

И дальше, когда волчья стая уже отстала, наши коняшки продолжали нести, пар над ними нависал белым облаком, не исчезал в полутьме даже при налёте ветра среди голого поля. Широкие раздавленные копыта отбрасывали комки спрессованного снега, приходилось сдерживать галоп, так как, повторяю, было очень опасно: сани на скользком уклоне могли по инерции



сильно накатиться, задняя кобыла не удержит воз, не обеспечит нужный тормоз, поддастся сама силе инерции и оттого будет непоправимая беда.

А вон, слава Богу, и огни лагерного посёлка. А вон и огни самого лагеря, наши бараки, кажущиеся сейчас такими уютными, тёплыми, желанными.

И голова моя уже сама собой планирует завтрашний день. Планирует: если всё обойдётся, если пронесёт, то надо будет установить себе порядок и решить с нарядчиком: выезжать утрами с конбазы не в восемь часов, а в семь или даже в половине седьмого, чтобы успевать обернуться засветло.

Я, глядя на Ольгу, скукоженно сидящую на заднем возу, настраиваю себя на то, что сурового наказания нам не будет, всё уладится, обойдётся.

По глупой своей молодости я ещё не знал, что надо в жизни настраиваться на худшее, а никак не наоборот, тогда и синяки на душе будут не такими саднящими. Позднее моей бедной голове удастся познать с Божьей помощью и другие мудрости: не захватывай в себя больше того, что можешь переварить, это одинаково применимо и когда насыщаешь себя хлебом-картошкой, и когда насыщаешь себя женскими ласками, и когда заглываешь разные виды плодов чьёго-то интеллекта.

А вот и особнячок лесной конторы.

Из темноты тамбура появляется сторож. То есть, в темноте не видно, сторож это или кто, говорит он с некоторым испугом в голосе:

– Эк, молодёжь, вы думаете что? Надзиратели уже дважды приходили, о вас справлялись. Ищут. Бегите шустряком в зону, иначе побег вам зачислят. С собакой начнут рыскать. Эк, беду на себя навлекли. Дуйте!

Силуэт человека тускло проступает на крыльце в чёрном дверном проёме. Я почему-то злюсь на мужика, ишь, указывает! Дуйте! Но нам же ещё на конную базу лошадей распрягать, ему бы взять на себя труд да помочь сбрасывать с саней брёвна, нет, не поможет, не догадается.

Высокие дощатые ворота конбазы оказались запертыми изнутри. После долгого торкания, пинания, стучания, слышен голос охранника:

– Кто там? Чего надо-то?

– Мы это. Мы, то есть... возчики. Лошадей поставить надо.

– Какие возчики? Каких лошадей? – пытается охранник через ворота глухим голосом.

– Дрова из леса мы возим. Вот приехали, вернулись.

– А-а, ну-ну.... Так бы и говорили. Болтаетесь, – пожилой охранник, отворив ворота, подозрительно приглядывается к лошадям. – Вон как ухайдакали. Еле дышат. Молокососам доверяют лошадей.

Медлительный охранник стоит на въезде, раздумывая, то ли впускать нас во внутрь двора, то ли ещё погодить. В глубине конбазы осветилась раскрывшаяся дверь шорницкой. Дядя Рудольф вышел.

Припадая на деревяшку, он доковылял до нас. Оценив ситуацию, он

обращается к охраннику:

– Лошадей я распрягу сам. Впускай. Пусть бегут. Сам я и кормом распоряджусь. Всё сделаю сам. Сам... Пусть бегут, не держи.

И уж, подталкивая меня и Ольгу, дядя Рудольф продолжил:

– По зонам скорее разбегайтесь. Может, обойдётся. Ох, как не хорошо-то получилось.

Я, оглушённый этим обстоятельством, не очень воспринимаю, отчего тут все всполошились. Ну, не уложились мы в отведённое на рейс время, ну дак что?

Главная дверь КПП заперта, за решёткой в окошечке не проглядывается свет. Я стучу. Внутри громыхнул засов.

Стоит надзиратель Курицын на пороге, откровенно зевает, вглядывается с высоты своего роста в меня, как бы определяя, что-то я значу в этом мире или ничего уж не значу.

– Э-э, сам явился. С повинной. Нагулялся и явился. Отбой когда уже был? А ты вотан. Ладно, давай, заходи, раз явился, – говорил он беззлобно, в полном равнодушии, и, завернув голову назад, прокричал: – Эй, Максимов! Гляди-ка на него, вот он, сам явился! Бери его.

– Кого? – заинтересовался невидимый Максимов.

– Да вот его, – сказал Курицын и с этими словами я был втолкнут в смежную комнату, где топилась буржуйка, а на топчанах в слабом освещении лежали два человека, один из них, должно быть, был тот самый Максимов.

Он скинул ноги на пол, подбросил берёзовые поленья в бокастую буржуйку и начал задавать вопросы, на меня, однако, не глядя. Воззрившись на печное пламя, спрашивал, кто у меня дома, чем занимается мать, где отец, учился или работал я до ареста, переписываюсь ли с роднёй. И лишь после этого уже начал спрашивать, где я был, отчего так поздно явился. Я отвечал, сильно заикаясь, это у меня болезнь – при потрясении заикаться, иное слово тянется так, что выходит из моего горла одним мычанием. Максиму глядеть на меня такого, должно, неприятно, он и не глядел, а внимание всё своё держал на пламени в раскрытой печке.

– Как считаешь, если твоя мать будет ждать тебя ещё лет этак шесть-семь? – поинтересовался он.

Тут я и вовсе замычал горлом, будто по-тувински запел, пробуя произнести протестующее слово. Слёзы из меня хлынули фонтаном. Максимов на этом окончил разговор, лицо его тронула брезгливая гримаса, он сказал, махнув вяло левой рукой:

– Ладно. Ступай. Мужик, мне ещё, понимаешь...

Не знаю, кто был этот Максимов с белыми свинячьими ресницами, какая у него функция, но я благодарен ему на всю жизнь. Побег мне не приписали! Спустили на тормозах мою вину.

Однако пропуска на свободный выход из зоны я был лишён окончательно и бесповоротно.

Стал ходить на работы с командой под конвоем – разгружать на

станции вагоны. Разгружал я и глядел на улицы города, он рядом, этот старый город с резными ставнями и дамочками в беличьих шубках, тоска одолевала душу, – дамочки глядели на нас испуганно, проходя мимо, убыстряли свои шагжки, придерживая голубые шапочки. Интеллигентки, должно, паскудные.

И разгружал я эти вагоны до февраля, до того самого дня, когда поступило экстренное указание: срочно набрать и сколотить из нашего лагеря батальон бойцов для действующего фронта, застопорившегося где-то под румынской границей. Фронт остро нуждался в живой свежей силе. Мы, значит, ещё живые, ещё свежие.

Было мне тогда 17 лет. По документам. А фактически... В начале войны чуть ли не все пацаны на нашей улице Кропоткина, мои ровесники, приписали себе по году, по два, чтобы быть принятыми на военный завод, и я, конечно, тоже приписал.

Тот же майор, приезжавший год назад и ставший ещё более сутулым, на этот раз отбирал новобранцев менее требовательно к физическим данным, однако, всматриваясь в меня с явным неудовольствием – больно какой-то недорослый, шея совсем жидкая, как у птенца – долго гмыкал, крутил носом, прежде чем кивнуть сухим указательным изуродованным пальцем и произнести: «Пойдёт».

## *Часть II*

### **МАМА, Я СЛУЖУ В БАТАЛЬОНЕ НКВД**

Остаток февраля и март 1944-го прошли в учениях. Условия, приближённые к фронтовым. В степи – под Омском. Стрелять я умел – на утках и косачах в детстве практиковался. А ползать по-пластунски, метать гранату и наматывать обмотки на ноги – не такая уж сложная наука.

Ни о каком штрафбате речь не шла. Поэтому, если и были в степи часовые, то совсем не для того, чтобы вчерашних зэков стеречь. Взаимоотношения между нами и командирами строились, можно сказать, на доверии. Нам доверили служить! Ну, если не на доверии, то, с одной стороны, на проснувшемся в наших сердцах чувстве долга, с другой же стороны, на реальном страхе: дезертирство оценивается однозначно – вышкой.

Вот ведь ситуация: ещё вчера, изловчившись, исхитрившись, удрал зэк из зоны – получай к сроку привесок в пару лет, а удрав из степи, из этих вот землянок, нарытых в заснеженном поле, где никаких тебе злющих овчарок – получай высшую меру, пулю в лоб и позор всему роду.

– Вы защитники Родины! – говорят нам определённо, не фальшивя.

– Клянёмся! – отвечаем мы в голос.

Вот и выходит: долг и доверие, ничего кроме не остаётся. Доверие и долг!

В начале апреля поезд, именуемый телячьим, увозил нас из Омска дальше на запад. Размещались в вагонах поротно. Кто попрacticalнее, ухватил с перрона девчонку, их, желающих прокатиться с юными весёлыми воинами, было у поезда достаточно, они тянули в вагон руки. Надо было ухватить какую за пальчики, дёрнуть на себя, как девчонка, улыбающаяся и смущённая, оказывалась в объятиях того, кто её избрал. Мне тоже хотелось какую-то избрать, но ни решимостью, ни ловкостью я по этой части не обладал.

– А чего зевать, к фронту же едем. Напоследок! – выкрикивал кто-нибудь в весёлом, мстительном и бесшабашном азарте.

Иные гости, запоздало сообразив, что попали совсем не к тем рыцарям, о которых в книжках писано, начинали слезливо ныть, а это, разумеется, натерпевшихся в зонах рыцарей только возбуждало и провоцировало на действия.

Мелкие станции проскакивали. Но и на крупных станциях остановки были короткие. У машиниста был приказ: спешить. На перронах мелькал один и тот же плакат: красный боец в красном шлеме спрашивает: «Все ли ты отдал фронту?»

Командиры ехали отдельно, в голове состава, потому армейская дисциплина у нас в вагоне распалась, тут стал порядок привычной тюремной камеры, как и следовало ожидать. Кого-то сдвинули на нарах к самому проходу, кто-то разместился свободно у окна, где узкий поток света позволял весь день резаться в карты. Иерархическая лестница выстроилась так, что наверху её оказался Рома Плоткин (Плот), парень с выпяченной верхней челюстью, делавшей его похожим на рыжего суслика. Судимый по 162 за квартирную кражу, Плот в колонии вёл долгую борьбу за право слыть авторитетом, был неоднократно бит другими, претендующими на этот титул, смирился с ролью подчинённого и выполнял волю старших. В вагоне же вот взял он лидерство без труда. Хотя, впрочем, нашлись бы парни, способные посоперничать с задирой, более крепкие в кулаке, да уже и нашлись, быть бы смертному бою, да тут подоспел ротный, объявивший: «В отсутствии меня за порядок отвечает рядовой Плоткин». Тут надо пояснить, что везли нас ещё окончательно не сформированными ни по взводам, ни по отделениям, это уж произойдёт там, на месте, в боевой части, куда нас везли. Мы были рота номер 4, а больше ничего не знали, ни какого батальона, ни какого полка, да и незачем нам было знать. В общем, мы ехали, как резервный состав для пополнения фронтовых подразделений, сразу в окопы.

Плот, обретя официально абсолютную власть, сразу же создал штаб из дюжины шестёрок, разместил их на средних нарах вокруг себя и назначил из этого окружения двух дневальных дежурить у двери на остановках. Они-то, эти дежурные, и определяли, кого из гражданских, просившихся в вагон, взять, а кому отказать. Предпочтение, конечно, отдавалось девочкам. И ведь находились, дурочки, просились. И решались, глупые, залезть в наш гадюшник. По внутрипоездному радио в целях идеологической обработки

нам постоянно напоминалось, что мы «защитники Родины», следовательно, мораль у нас высокая. Однако, в глубине наша психология до высокого гражданского уровня не доросла (дорастёт ли?), наши понятия оставались теми, как сформировала зона.

На одном из разездов к остановившемуся поезду подбежали пожилая женщина и молодая девушка, это были мать с дочерью. На старшей были сбитые, обшарпанные кирзовые сапоги и ватник потёртый, а лицо изнурённо-озабоченное, молодая же выглядела по-весеннему нарядно: клетчатая косынка, коротенькая курточка синего сукна, сидящая на фигуре удивительно ладно, и лёгкая, льнущая к коленкам, юбочка тоже синего цвета. Крупные глаза широко расставлены, чистый ультрамарин. Я как-то сразу обратил внимание на бирюзовое небо над станцией, на вспухшие кусты вербы у перрона.

Да ведь вот она и весна пришла! Это, должно, думали и сидевшие в раскрытых дверях дневальные, которых пожилая женщина просила взять девушку в вагон, чтобы та смогла доехать без билета до какого-то уральского городка.

– Подвезите, сынки, чего ж вам, – говорила униженно женщина, суя узелок со снедью.

Тут подскочил Плот и, нагнувшись, подал сверху руку девушке, потянул её в дверь, при этом весело говорил: «Подвезём, не беспокойся. Как же. Обязательно. В ажуре будет». Дневальные подхватили девушку снизу, под выпуклый задок, подкинули, и она вмиг оказалась на втором ряду нар.

Эшелон тронулся.

– Привет, мамаша! Фашистов добьём, вернёмся, бражку готовь.

Женщина с беспокойством, с ужасом на худом лице, бежала по насыпи рядом с поездом. Она что-то поняла. Поняла, что свершилось непоправимое: дочь попала не в те руки. Но уже ничего не сделаешь.

А тем временем включили на предел звука патефон, подаренный нам в Омске железнодорожниками. Изношенный музыкальный инструмент вёл себя странно: он не только гремел, хрипел, скрипел, чудовищно искажая мелодию, но и подпрыгивал, выражая крайнюю степень своего механического возбуждения.

Признаюсь, я не сознавал себя способным вступить за девушку. Более того, у меня не было никакого желания вступаться, и совсем не потому, что я боялся Плота. Его я знал не только по колонии, но и по воле, он жил в Новосибирске на улице Войкова, а войковские пацаны отличались мстительной агрессивностью и он, Плот, был у них заводилой, когда они шли драться на нашу улицу Кропоткина. Но всё равно я его не боялся. Просто в моём сердце были глухота и отчуждение. «Шлюха, шлюха, шлюха», – повторял я мысленно. Все они, девчонки, такие, все!

Синеглазая попутчица проехала свою станцию, сошла она в каком-то другом месте. Глаза у неё были ещё шире, ещё синее, только свету меньше

в них. Она прикрывала бледную помятую щеку уголком косынки, вагон хихикал ей вслед. Подло хихикал.

Большинство ехавших в вагоне на фронт не знало чистой любви. Не знало целомудренных девушек. А есть ли они такие-то? Остались ли? Всем парням хочется светлой любви и целомудрия. И Роман Плоткин не исключение. Нет на свете мужчины, который бы не мечтал повстречать святую. Хо! Святость! Святость в образе шлюхи! Сколько раз в последующие годы мне предстоит обмануться! Эх, синие глаза!

Патрули хоть и дежурили исправно на перронах, встречая и провожая наш дикий эковский эшелон – недобрая слава о нас летела впереди, – уследить за действиями нашего брата они не могли. То и дело кричали торговки: «Держите, держите!» Больше соблазнов было утащить сметану. Да и как её не утащить! Ведь в зонах забыли её вкус. И вид забыли. А тут она, загустевшая, открытая в кастрюле или в туесе. Хватай посудину и мчись до своего вагона. А коль добежал и юркнул в вагон, тут уж никто не выдаст, кричи торговка, не кричи. К тому же воришка-пакостник хитро выжидает на перроне, когда уже просвистит тепловоз, когда лязгнут буфера и состав начнёт набирать ход, тут-то и хватает в секунды, что торговка и глазом не успеваешь моргнуть. Преуспевал больше в таком непростом деле Федя Бугаев, в противоположность своей фамилии он был худосочным, тщедушным, понурые глаза его, постоянно обращены вниз, как бы что-то искал он под ногами. Осуждать Федино ремесло с моей точки зрения было глупо в высшей степени – зона всему научит, каждый выживает как может. Однако, когда я на место пострадавшей на перроне торговки ставил свою мать – хотя мама сметаной торговать не могла, неоткуда взять такой товар, она торговала в Новосибирске на центральном рынке извёсткой – я готов был врезать ему по мордасам с превеликим наслаждением. И приговорить: «На, подлая гнида, получай».

И однажды Федя получил своё. Не от меня, к сожалению. И не за сметану, а за кулагу. Хохот! Случилось это уже тогда, когда поезд, не доезжая столицы, круто свернул на узловой станции в южную сторону, и были мы где-то за Тулой. Здесь побывали года два или полтора назад фрицы, деревни переходили от одних к другим, скота никакого не осталось, люди жили тем, что давал огород. Это было видно по товару, с каким женщины выбегали к эшелону: варёные – свёкла, брюква, репа, реже картошка, просяные лепёшки и, конечно, кулага в кастрюлях, чугунах и туесах. Менялось это буквально за всё, что мы могли предложить: брезентовый ремень, оказавшийся у кого-то лишним, старые портянки, коробок спичек, самодельный мундштук, обмотки, шнурки от солдатских ботинок... Огромный спрос имели ботинки и всякая обувь.

Вдоль линии ещё валялись неподобренные стволы разбитых орудий, искорёженное ржавое железо, прежде бывшее паровозами и автомобилями.

Федя, как обычно, выглядел себе несчастную жертву, старушку с

чугунком, наполненным ещё горячей, парящейся кулагой, и стоял около, выжидая момента. А момент подоспел, когда гукнул тепловоз, и лязгнули буфера. Метод отработан: хватай и удирай. На этот раз вагон находился далеко, пришлось Феде с чугуном петлять между встречными гражданами, сзади верещала бабка. А встречным-то оказался здоровяк в тельняшке, шагающий на деревянном обручке вместо ноги. Этот-то бывший морячок и перерезал путь нашему сноровистому бойцу. Федя метнулся в один бок, в другой, чтобы обогнуть морячка-инвалида. И как-то вышло так, что морячок, хоть и на обручке, оказался сноровистее, он выхватил у Феде чугунок. В следующий момент объёмистый чугунок был уже на Фединой голове, надвинутый по самые уши.

Так со щербатой посудиною на башке Федя и влетел в вагон. Вот уж хохоту было, когда сдёргивали чугунок.

От горячей кулаги потом на Фединой голове волосы долго не росли.

Забегу вперёд и скажу, что в Австрии, в тихом местечке, Федя подорвётся на пехотной мине – он вскочит в усадьбу, куда не полагалось бы заходить допреж минёров, – выживет, а вот ног лишится.

Обнаружились лихие мастера по разным хитроумным подделкам. Одни из кирпичных обломков, подобранных на перроне, производили порошок и в бумажных пакетиках обменивали вместо краски у старушек на варёную картошку, другие мухлевали с нитками: наматывали тюричек на пару рядков и продавали нуждающимся. Да мало ли какие фантазии возникали.

Набираюсь нахальства думать, что на такие наши хитрости не особо обижаются народ на станциях, понимали люди, везут совсем уж зелёных юнцов туда, откуда целыми не возвращаются.

Земля, по которой нас везли, представляла картину жуткую. Даже для тех, кто повидал многое. Густой дух тлена витал кругом. Взятая в десяти шагах от железнодорожного полотна горсть земли, имела запах натуральной крови. Ростки трав и корешки тоже, казалось, пахнут человеческой кровью. Местные железнодорожники, состоявшие в основном из женщин, нам объяснили, что как раз тут проходила Орловско-Курская дуга. Об этой дуге мы в своих зонах что-то, конечно, слышали.

Цветение садов буйствовало, но их аромат и цвет не сглаживали следов войны. Реальная такая вот картина служила средством воспитания бывших экзков, делала всех нас серьёзнее и угрюмее.

Я ещё не написал с дороги письмо домой. В таком настроении не хотелось писать. Вот прибудем на место, там и напишу. А куда нас везут, в какое место – никто не знает. Известно лишь, что куда-то дальше на юго-запад. Только что проехали Белгород: ни вокзального здания, ни домов – руины сплошные. Железнодорожницы в брезентовых штанах, смазывающие буксы в колёсах, говорят, что дальше будет Харьков. Теперь на каждой остановке старший лейтенант, командир нашего вагона, точнее

роты, человек с непроницаемым одутловато-пухлым лицом (такая же фамилия – Пухлов), выводил нас на перрон, выстраивал и перекликал по списку. Это он стал делать после того, как в соседнем вагоне случилось групповое дезертирство. Пошли вояки за кипятком с котелками и не вернулись.

Зенитная пушка на крыше вагона чуть ли не от самого Урала начала хлопать и теперь хлопала по ночам часто. Вагон трясся, все просыпались и напрягали слух, готовясь выпрыгивать по тревоге.

Но проносило, к счастью.

После того, как проносило, оживал придавленный разговор. Совсем далёкий от данной ситуации разговор.

– Я, как помню, ходили мы с отцом дрова заготавливать в лесу, была зима, разожгём костёр, напекём, бывало, в золе картошек... – делился кто-нибудь сокровенным, вспоминая после пережитого нервного стресса.

– А у нас в деревне колхоз богатый был. По два кило пшеницы на трудодень распределяли... – говорил другой. – Мать булки пекла – во!

Но зону не вспоминали ни хорошо, ни худо. А вот жаргон «сэчары» не изживался в общении.

Произносить «сэчары» вместо «сучары» и вообще пользоваться этим словом позволено в зоне было далеко не всякому, даже такому, как Рома Плот, для этого требовался повышенный ранг в среде лагерного авторитета.

Но здесь-то других авторитетов не водилось, и Плот, не глупый, мог позволять себе высокую элитную лексику.

– Сэчары! – шумел Рома. Видно было, он хочет спровоцировать себе возражение, возражающих, однако, не находилось.

Обморочно-тяжёлая дремота. Чем ближе к пункту назначения, тем меньше становилось сна, а дремота была, как плавание по заросшему ряской глубокому озеру с камнями на ногах и руках – то ли выплывешь на твёрдое, то ли нет. В пути я скорешился с Геной Солощевым, скромным болезненным колонистом, сосредоточенным в самом себе, не подозревающим и не предчувствующем, а может и предчувствующем, какая страшная в скором времени ждет его судьба.

– Сэчары! – Рома Плот упивался властью. Чем дальше, тем меньше на перронах было девчат, которые бы просились в вагон, чтобы их подвезли.

Высадились мы среди ночи по тревоге. Куда-то долго бежали, натыкаясь друг на друга. Рассвет нас застал в жиденьком лесу на берегу реки, вода в которой была мутной, как бы кто месил в ней глину. Ходили разговоры, что по истечении дня не то повезут нас на грузовиках, не то погонят на своих двоих дальше, где мы будем готовиться к переправе через Южный Буг, за которым стоит в обороне румынская армия. И ещё говорили, будто нас выставят на переправе первыми, дабы мы могли оправдать доверие советской власти, досрочно освободившей своих сынов из зоны.



Выдали на руки оружие. Наконец-то! Доверили. Я был обучен на пулемётчика, но выдали мне карабин со штыком трёхгранным. Карабины выдали всем: пулемётчикам, миномётчикам... Оружие за плечом как-то сразу подравняло всех: и Федю Бугаева, и Романа Плоткина...

И ещё один марш-бросок. С полным снаряжением. Также ночью. Теперь всё необстрелянное войско было поделено по взводам. Командир моего взвода – младший лейтенант Терентьев, лет двадцати двух, узкое бледное лицо и безукоризненно белый подворотничок на гимнастёрке, красные погоны. Цвет погон очень смутил и насторожил новоприбывших. Такие вот наплечные знаки были и у охранников в зоне.

Было объявлено: ввиду того, что на освобождённой территории Украины остались и действуют крупные мародёрствующие банды, сформирован отдельный батальон истребителей. Вот это да! Я – истребитель. Попал!

## **А НОЧИ ТУТ ЧЁРНЫЕ, КАК САЖА**

Всё лето батальон, оправдывая своё назначение истребителя, отдельными своими подразделениями проводил операции по территориям юга Украины, по мелким городкам – Балта, Ананьев, Вознесенск, Котовск... А осенью, ближе к зиме, батальон передислоцировался на Днестр, в селение Флорешты. Совсем, думаю, не потому передислоцировался сюда, что здесь больше водилось тех, кого следовало истинно и интенсивно истреблять. Надо же было где-то обустраивать опорную базу, тем более, что было понятно: нас не бросят в передние окопы фронта, а будут бросать по недалёким тылам и не всем организованным составом батальона, а ротами, чаще взводами, нередко и отделениями. Ночная тревога, отделение ещё не проснувшись окончательно, впрыгивает в крытый брезентом кузов «студебеккера», и машина, притенив фары, растворяется во мраке. Тогда как оставшийся в базовом расположении личный состав батальона продолжает спать. Куда поехали, какая задача – ты не знаешь. Сиди, зажавши меж коленями цевьё карабина и опершись на ствол, но будь мускульно собран, готовым к захвату. Не к обороне, нет, а к захвату. Оборона самого себя никогда в задачу не входила. Стрельба на поражение – тоже в задачу не ставилась. Только захват. Живьём. В селе на берегу Южного Буга вчерашние пособники фашистским оккупантам устроили нам контрловушку.

– Бандит коварный и хитрый, – говорит замполит роты, лейтенант Лузак. – Рассчитывать на дурака не приходится. А мы должны ему противопоставить сноровку и ум чекиста.

Феде Бугаеву особо льстило, что его называют чекистом.

– Я тогда определиться хочу сам в себе: что значит быть хитрым? – спрашивал он. – Хитрый, значит, уже не умный, так что ли? А если не умный, а только хитрый, то уже, наверное, не совсем хитрый, а обыкновенный, – непонятно, что хотел выяснить Федя, ему просто охота было порассуждать с замполитом. Федя Бугаев становился неузнаваем.

Полгода службы в экстремальных армейских условиях его изменили и физически, и в смысле мозгов, то есть интеллекта. При организации засад на операциях он нередко назначается старшим группы из двух-трёх бойцов. Если же в группу входит Роман Плоткин, то, конечно, роль старшего отдаётся Плоту, а не Феде. Учитывается психологический мотив.

Я по глупости было принялся записывать в тетрадь про наши ночные выезды и захваты, но скоро вызнали в штабе, я был туда доставлен, со мной долго беседовал офицер с кирпичным лицом, я переживал состояние озноба, какое испытывал в зоне при обыске на вахте. Тетрадь, конечно, офицер изъял. Заодно и химический карандаш, чтобы в дальнейшем не было соблазна заниматься несерьёзным для солдата делом. Ха, Лев Толстой выискался, который про Жилина и Костылина написал. К тому времени я только про Жилина и Костылина да Хаджи-Мурата знал у великого графа.

Обладай грамотёшкой, я бы мог заинтересоваться историей селения Флорешты, а история-то примечательная, достойная того, чтобы знать. Ну, вообразите, ещё когда мамонты табунами паслись у нас в Сибири, а люди от шимпанзе не отличались, здесь уже была деревня. Замполит Лузак принёс из оврага древние черепки и показывал. Солдаты тайно друг от друга, а тем более от командиров, сбегали туда. Ничего кроме черепков не обнаружили.

А могли бы ведь те древние дебилы что-нибудь и посущественнее оставить, ну, например, золотую статуэтку. Было же, наверное, в ту эпоху золотишко, водилось.

Ветки в садах обламывались под тяжестью созревших плодов. Население торопилось готовить виноградные вина, и сливали его в бочки в подвалах.

В воздухе пахло дурманящим ароматом. Это обстоятельство создавало больше неудобства командирам. Хотя существовал приказ, что из расположения части можно выходить только в составе группы, и этот приказ выполнялся, солдаты ходили по улицам села по двое, по трое, тем не менее, чуть ли не ежедневно случались ЧП. Солдаты обнаруживались в погребках. Да ведь в таком состоянии, что ни тяти, ни мамы. Языком не ворочали. Сами оттуда наружу уже не могли выбраться. Участились потери. Не дремали те, кому не по духу приход Красной Армии. Взаимно: охотились мы, охотились и на нас. Из нашего взвода пропали четверо: Володя Пименов, новосибирец, Серёга Алдонин, томич, Олег Глушко, кемеровчанин, и Стас Земнович, норильчанин. Все они прошли Томскую колонию, нормальные ребята, работали на кожфабрике в тапочном цехе. Во взрослом лагере им, как и мне, было доверено ходить на рабочие объекты без конвоя. С Володей Пименовым у меня, как и с Геной Солощевым, были корешовские отношения.

При всех негативах Флорешты оказались местом для батальона не так уж худым. Старшинам рот, каждому для своего подразделения, удавалось

добыть у местных хозяек мамалыгу в обмен на что-то, а, скорее всего без всякого обмена, и продукт этот, появившийся на столе, в рации, быстро выправлял наши зачуханные тела. Резко вдруг подался в росте Федя Бугаев. Да и я, кажется, на пару сантиметров прибавил. Неудобство состояло лишь в том, когда на вечерней поверке мы выстраивались и перед строем случалось пробегать штабной телефонистке (скорее всего явление её было не случайным, а специально провоцирующим), грудастой хохлушке с налитыми, яблочно-алыми щеками, у всего строя вдруг неприлично вздувались штаны. Старшина гневно взглядывал на лукавую провокаторшу, он же ведь отвечал за наш половой покой. Такая вот молдавская мамалыга!

На румынскую территорию, на крупную узловую железнодорожную станцию, только-только освобождённую от немцев, мы попали вскоре. Произошло это обычным порядком. По тревоге с полной выкладкой среди ночи добежали до аэродрома, заполнили собой чрево винтокрылой машины и, не видя друг друга, а лишь ощущая толчки и запыханное дыхание с боков, сзади и спереди (ни внутри самолёта, ни снаружи, на аэродроме никакого лучика света, а южные ночи чернее сажи) мы разместились кто как сумел.

У меня быстро замлели ноги в ступнях и в коленях, я их заморозил ещё в Бердской лагерной зоне, когда сортировали стылую капусту в буртах, и оттого сидеть на кукорьках больше десяти минут – мучение. Долетели без происшествий. И в ту же ночь – наряд на патрулирование.

Обязанность патрульной службы здесь состояла в том, чтобы высматривать подозрительных типов среди тех пассажиров, какие ехали на крышах вагонов и висели гроздьями между вагонами на буферах и воздушных тормозных шлангах.

На этот раз со мной в паре был Гена Солощев, как я уже про него, по моему, говорил, тихий, робкий парень, колонист, страдающий брюшной болезнью, а потому молчаливый и сосредоточенный в себе. С ним в паре быть хорошо – не отвлекает болтовнёй.

Задержанных надлежало нам доставлять в комендантскую комнату при вокзале. Комендант, высокий рыжеусый румын с чёрными глазами, лет сорока, владел каким-то набором русских слов, и каждый раз, как мы к нему приводили очередного задержанного, с чувством говорил: «Большой молодец». При этом старался доверительно улыбнуться, но вместо улыбки выходила гримаса, так как всю его впалую щеку до уха пересекали два глубоких рубца. Комендант, должно, зная, что улыбка у него не получается, потому старательно затягивался сигаретой и обволакивал, зашоривал себя плотным дымом.

Толпа, толпа у каждого прибывающего на перрон и каждого отбывающего с перрона поезда. Ага, вон кто-то, заметив патруль, прячется на крыше. Я с фонарём лезу к нему, держа оружие наготове. Напарника Гену только что стошнило – его болезнь проявляется в том, что его часто тошнит и рвет – и он остается внизу страховать. За ночь дежурства Гену

рвёт не раз, а в санчасть идти решительно отказывается. Солдаты нужны в действии, упрямо считает Гена.

Я вот лезу с фонарем на крышу. Человек же, который на крыше, если он тот самый, за кем мы тут охотимся, а охотимся мы на узловой железнодорожной станции за теми, кто мародёрством в прифронтовой полосе обогатился золотыми и прочими драгоценными вещами и сейчас везёт их на Восток, прямым ходом в кипящую матерыми спекулянтами Одессу – если он тот самый, то он сейчас встретит меня молниеносным ударом ноги в лицо, сам же прыгнет на другую сторону вагона, в темноту, а напарник же мой, добрейший Гена, страхующий внизу, не успеет в эти секунды и сообразить, что вверху, над его головой произошло. Если же человек, которого мы с Геной заподозрили, забрался сюда, на крышу, и прячется просто потому, что нет у него билета, то такой персонаж меня не интересует. Я требую, придав голосу властный звук, показать документ, человек показывает, рука у него дрожит, я, подсвечивая, добросовестно вглядываюсь в поданную бумажку, хотя прочесть в ней не способен ни слова. Возвращаю, киваю: дескать, всё в порядке, езжай. Лицо человека было потухшее, вспыхивает радостью. Мне тоже приятно. Вообще мне жалко, мне всех жалко. Война – это состояние, когда никто никого не понимает. Одни теряют вещи и жизнь, другие обретают вещи, а жизни всё равно не прибавится, скорее убавится. В итоге теряют все. В абсолютном выигрыше никого.

Но вот снова наше обостренное внимание останавливается, на этот раз не на крыше вагона, а в толпе. Это был мужчина, подозрительно одетый в то, что носят молдавские и румынские пастухи. Когда я привел его в комендантскую комнату, тут была паника. Сам комендант лежал у стены на полу, рука закинута за голову, ноги в немецких сапогах разбросаны широко, будто лежа он собирался за кем-то бежать. Это почему-то не потрясло меня и не удивило, остановившись у порога, я глядел, заторможенный в своих восприятиях. Люди, находившиеся в комнате, пытались как-то помочь поверженному коменданту, а помочь ему, я сразу определил, уже ничем было нельзя, он был мёртв. Убийство совершилось только что, за секунды до моего прихода, кровь ещё не загустела, растекалась по полу, окрашивала битое стекло. Дыра в окне свидетельствовала, откуда, с какой стороны совершено нападение.

Я постоял немного и, указав задержанному на дверь, вышел за ним. При такой создавшейся ситуации я должен доставить его в свою часть дежурному. С точки зрения здравого смысла это было величайшей глупостью. Конвоировать одному нельзя. Ну, противоречит уставу. Тем более, в ночное время. Тем более – в незнакомом разбомблённом городе. Тем более, не с автоматом, а с карабином, оружием примитивным и малопригодным в условиях тесных застроек. А что делать?

Я должен, как старший патруля, взять напарника, сняв его с поста. Но и оголять пост, оставив вокзал без патрульного бойца, я не имею

достаточного основания.

Проще бы, конечно, отпустить: иди, молодец, на все четыре стороны, я тебя не видел, и ты меня тоже. И я бы, наверное, так и распорядился, но вероломное убийство коменданта взывало к отмщению, он мне был по-отцовски симпатичен тот румын, не забывавший поощрять русского солдата: «Бо-ольшой мо-олодецы». Он был из рабочих, совершивших революционное восстание в Бухаресте, что помогло Красной Армии при наступлении.

У задержанного была брезентовая сумка с лямками, надетыми через шею на плечо. По тому, как лямки оттягивались, в сумке было что-то тяжёлое, какой-то несоразмерный со своим объёмом груз. Я это заметил сразу.

Отступив на несколько шагов, я следовал позади задержанного человека, его силуэт растворялся в темноте. А где надо было переходить с одной улицы на другую, делать повороты, я подбегал почти вплотную и рукой показывал, куда идти. Это было, конечно, и вовсе явным нарушением правил конвоирования, так приближаться, это было потерей всякой бдительности, но что я мог поделать, если я не умел отдавать ему команды, не владея ни немецким, ни румынским. Я знал только «шнель», «хенде хох» и ещё два-три слова. А вот «направо», «налево» – как?

В очередной раз я тронул конвоируемого за плечо, когда оставалось перейти последний, короткий переулок, изрытый недавними снарядами, – вот я показал ему рукой направо, в другой руке держа оружие, как вдруг он толкнул меня всем своим корпусом, ухватился за карабин и стал тянуть.

Я, хоть и был обучен кое-каким приёмам рукопашного боя – больше в колонии обучен, чем в роте, – от неожиданности упал на бедро, оружия же не выпустил, уцепился. Карабин, задев за кирпичи, произвольно выстрелил, это меня и спасло. Повторяю: это меня и спасло.

На выстрел через переулок прибежали бойцы из нашей караульной службы...

При досмотре в брезентовой сумке задержанного была обнаружена железная коробочка, а в ней... просо. Однако, под тонким слоем буровато-оранжевого зерна – кольца, браслеты, серёжки, брошки и прочая женская бижутерия – и всё это из жёлтого металла да с разными кристалльными блестками. Ба-атюшки, никогда я ничего подобного не мог видеть!

Явный мародёр попался. Эх, бедолага. И надо же было тебе подвернуться на глаза патрулю.

Но шок я испытал не от этого, а оттого, что задержанный, притворявшийся немцем, оказался советским гражданином, к тому же моим земляком, соратником по тюремной камере в Новосибирске в 1942 году, носившем кличку Кряха (читайте о нём в первой части повести). Его ведь я и не признал, настолько он раздобрел в бороде.

– Паскуда несчастная! Сучара! Как я тебя, дешёвка, тогда не прикончил! – возмущался «дружок».

В роте надо мной смеялись:

– Фарт, тебе, дураку, попался, а ты упустил. Шлёпнул бы мародёра

П О

на дороге. На полжизни трофеев тебе хватило бы...

Признаюсь... Мне, обречённому на пожизненное унижение, на пожизненную нищету, было и в самом деле жаль форта. Упустил. Столько драгоценностей! Мама бы перестала носить на коромысле из Колыванского карьера за 35 километров известковые камни на рынок, а сестрёнка смогла бы одеться в цигейковую шубку, а главное, перестали бы мы ходить в Новосибирске по чужим квартирам, купили бы себе свой домик. Думаю, не только в моей голове были такие недозволенные мысли, они были и у других бойцов, судьба-то у каждого не краше моей. Такая вот вышла история с Кряхой – помните, собирался меня ночью в камере зарезать бритвой? – худая история не радует.

И опять пошли во мне мутные жалостливые мысли о том, что я отнял, можно сказать, вырвал своим солдатским поступком, будущее не только у Кряхи, но и у себя, это верно. В первую очередь у себя, да, это верно.

А Кряха? Может, на этом у него была надежда завязать с жизнью недостойной. Может... А с чего он стал таковым, из чего слеплялись блоки его волчьего мировоззрения? От нищеты, от безысходности. Родился в нищей семье. А расти мальчишке в нищей семье стыдобушка, все дразнят, и никто с тобой не дружит, благополучные бросают в тебя камни. И прочее. Как же тут не пойдёшь в шайку воров, если есть надежда на то, чтобы прямо и дерзко глядеть другим мальчишкам в глаза. Вот так, да. А я разве не носил в себе фантазии обокрасть главную контору в городе, где хранятся деньги? Главное хранилище денег на проспекте имени Сталина. И прочее... Разве я не мечтал в те дни, когда у нас с мамой нечего было есть и в брюхе тоскливо и возмущённо урчали голодные органы, не мечтал разве тайно оказаться в компании заельцовских пацанов, про которых ходила завидная слава, что они первые потрошители богатеньких квартир в городе? Улица Заельцовская состоит сплошь из землянушек-дернушек, укреплённых полусопревшим горбылём, утащенным тайно ночами с пилзавода, живут там отсевики города, охвостья, те, кто не может держаться ближе к центру, и пацанва, сбиваясь в стаи, с малых лет ищет свой промысел, свой путь, чтобы выбраться из ямы на свет. Кряха как раз из заельцовских.

С сердцем, подаренным мне мамой, непригоден я, наверное, да и не наверное, а наверняка непригоден не только в чекисты, а и в солдаты рядовые. Завидую, кому не дано чувство сострадания.

## ВЕНГРИЯ

Она прилепилась между отрогами Альп и Карпатами, на равнине посерединке Европы, и когда из центра, то есть из столицы разгоняешься на «студебеккере» и едешь в одну сторону, то не заметишь, как вкатил в

Австрию, поворачиваешь в другую сторону, включил более-менее приличную скорость, а дороги гладкие, как столб, оглянулся – уже и чехословацкую границу перелетел. Сибирику, привыкшему к широте, – это чудно. Я по дрова в лагерной жизни дальше ездил, чем тут от границы до границы. Но есть тут страны ещё меньше, на них и вовсе не разбежаться. Государство, а посередке министры кучкой слепились, живут, остальным же, то есть народу, и разместиться негде, кто где успел захватить пятачок земли, присел, сидит, тем и доволен. Иные не шибко довольны, даже совсем недовольны, глядят в сторону СССР: вот где несчитанные тысячи километров!

Венгрию Гитлер не завоевывал. Не стал. А что её завоёвывать, когда она сама к нему подобно шлюхе прилезла! Бравые мадьярские солдаты побывали под Москвой, а оттуда бежали, не поспевая оглядываться. А прибежав на свой двор, укрылись они в погребках, где сохранились запасы настоявшихся виноградных вин. Пьяный мадьяр совсем не тот, как трезвый, не тот, каким был до неудачного похода на русскую столицу, зануздка ему трется.

Мадьяры – венгерская нация. Почему они так сами себя назвали – шут их знает. Никто не скажет: «Я венгр». Все говорят: «Я мадьяр».

Передовые отряды войск Красной Армии вышли из Румынии к границам Венгрии в конце зимы 1944 года. А 28 декабря тот мадьярский солдат-неудачник, который побывал под Москвой, мечтая весело дойти до Урала, одумался, вылез из винного своего погребка, протрезвел на свежем дунайском, альпийско-карпатском ветру, вооружился тем, что было под рукой, и попёр теперь уж не на русских, а на немцев, тем самым в значительной степени облегчил продвижение советских бойцов-окопников.

Наш славный батальон с эмблемой на знамени НКВД прибыл в Будапешт, когда на улицах ещё не осела пыль, поднятая бомбами и пушечными снарядами.

Функций у батальона было три. Первая функция: подобрать уцелевших врагов, попрятавшихся в разрушенных домах, и отправить их в те места СССР, где они произвели разруху, теперь пусть восстановят. Вторая функция: уберечь друзей в лице новой власти. И третья функция: взять под бдительный догляд материальные ценности, в том числе, конечно, и винные погребки, ещё не опустошённые, без которых блекнет смысл всех исторических завоеваний.

Я попал сначала на погребки, вернее, на погреб. Гигантский такой. На полверсты. Объект не просто экономической важности, но и политической: отсюда шла подпитка и правительства мадьярского, и генералитета советского. Пост достойный, служить можно. Обнаружилось к тому же, что погребок-гигант кроме жидкого набит ещё и ящиками, коробками с едой, т.е. с соответствующей генеральскому вкусу закуской. Стояли мы с Федей Бугаевым, он с одного конца, я с другого. Ночь долгая. Обо всём передумаешь. Утром приходил кладовщик, снимал пломбу, отмыкал замки

и начиналась отгрузка бочонков, коробок, ящиков на машины. Мы с Фёдей уходили в казарму, а на ночь снова становились на пост. Кормёжка в столовой известная – чечевица американская. Её в рот, она оттуда. Ребята во взводе, встречая нас утром возвращающихся, намекали:

– Вы бы там хотя бы что-нибудь сообразили. . .

Ну, мы и сообразили. На то и мозги. Фёдя, обойдя все окна, и трогая каждую решётку, обнаружил, что одна решётка не приварена, а держится на болтах. . . С того дня, значит, и весело стало. Чечевицу игнорировали.

Но меня вскоре направили на усиление охраны дачи какого-то министра. Дача находилась в получасе езды от Будапешта. Тут я нашёл Рому Плоткина и Мишу Учакова. Роман был весь лоснящийся, отъевшийся, он тут за старшего. Я поступил в его распоряжение. Дача состояла из большого белого дома с мансардой и открытой верандой, флигеля и сторожки у ворот. Флигель и сторожка тоже были белые. Во флигеле жил толстый медлительный садовник с женой, оба пожилые, не вступающие ни в какие отношения с нами, явно презирующие советских солдат, старуха никогда не становилась к нам лицом, а только задом, а зад у неё был широкий и плоский, как комод. И вообще мадьяры в массе своей относились к нам, как к людям интеллектуально недоразвитым, брезгливо фыркали, и не могли понять, как так случилось, что мы уже завоевали почти всю Европу, немцы, всемогущие немцы, никак не могут нас остановить. Сам хозяин дачи высокий сутулый господин в шляпе и чёрных очках, закрывающих половину лица, вообще никого не видел. Длинная синяя машина, похожая на птицу, бесшумно провозила его через ворота в глубину двора. Уезжал министр утром часов в семь, возвращался поздно вечером. От замполита мы знали, что он двадцать с лишним лет прожил в эмиграции в Москве, с 19-го года, когда его, одного из первых венгерских коммунистов, фашистская диктатура Хорти хотела расстрелять, а он изловчился убежать в Россию к Ленину.

– Вот вам кого доверено уберечь от возможных покушений врагов, - наказывал замполит, и сам при этом нацеленно, остро, вглядывался в мои глаза, определяя, достаточно ли я проникся ответственностью или нет. – Враги мирового пролетариата не дремлют.

Дали ребята прозвище хозяину: Чмо. Почему «Чмо», объяснить никто не мог. Впрочем, какая разница – Чмо так Чмо. К жирному садовнику припечаталось имя «Хряк», к его старухе – «Кляча». Когда надо было добыть соли, чтобы сварить зелёный суп, кто-нибудь говорил: «Пойду у Клячи попрошу». Старуха не отказывала, отмеряла щепоть, но подавала с таким подчёркнутым пренебрежением, что не хотелось брать.

Как-то пошёл Миша Учаков, возвратился без соли, в смущении, пунцовый.

– Ну, что? – спросил Рома Плоткин. – Где соль?

– А там они голышмя. . .



– Что... гольшмя? Соль неси! – заругался я.

– Да гольшмя они, говорю.

Целомудренный Миша и вовсе засмутился. У них, хакасов, обнажаться взрослому человеку на людях – стыд и бесчестие.

Без прилепленного прозвища оставалась только жена Чмо – аккуратненькая, с бесенятами в глазах, сильно смахивающая на Ольгу, ту самую Ольгу, с которой я когда-то возил дрова из леса в Томской колонии. Если бы конопушки были гуще на тугих щеках – ну прямо вылитая она, Ольга. Я сперва прямо так и ахнул, увидев её, вышедшую в распашонке на открытую веранду, завешенную виноградом: Ольга! А приглядевшись, успокоился: нет, не она, конечно. У Ольги, катающей брёвна в лесу и правящей лошадьми, не такие плечи, и движения рук не такие. Она была, примерно, моя ровесница, эта юная мадьярка. А может и не мадьярка. Может, из Москвы Чмо привёз её? Говоря в своём кругу о ней, мы подмигивали. Вот она к «завоевателям» относилась без презрения. Едва бесшумная синяя машина укатывала Чмо за ворота, как Рома тут же торопился к ней брать уроки мадьярского языка, к которому у него возник пламенный интерес. Она давала ему такие уроки.

В тёплый полдень – а погода в апреле 1945-го стояла удивительно тёплая. Она, гуляя меж кустами наливающейся черешни, заглядывала к нам в сторожку, по всему замечалось, что уроки по лингвистике она готова давать, если не всей нашей роте, то уж нашей всей группе – наверняка.

Между тем существовал приказ ещё с Бухареста: за половую связь с иностранками – штрафбат.

Но тут-то речь о связи лингвистической. Это, наверное, должно даже поощряться. У замполита надо спросить.

По соседству располагалась другая дача, за ней следующая и так далее. Все они охвачены сплошным общим забором. Дачный посёлок Венгерской верхней власти. До прихода Красной Армии тут благоденствовали министры, служившие буржуазному фашистскому режиму Хорти, теперь здесь, в благоухающих садах, другие министры, которым служим мы.

## **«МАМА», «МАМА»... – КРИЧАЛ СОЛДАТИК**

Мающийся желудком боец Гена Солощев ходил улицей венгерской столицы в составе патруля, почувствовал тошноту, зашёл во двор, чтобы попросить у хозяев воды запить порошок. Во дворе никого взрослых не оказалось, только малые дети играли. Гена прошёл в дом. Дети чего-то напугались, закричали. Навстречу выскочила хозяйка, тоже закричала и стала толкать воина с крыльца. Прибежали на крик соседские женщины, приняв Гену за насильника.

Одна из женщин упала, что-то в себе зашибла. Прибежали мужики. И Гену скрутили, доставили в комендатуру с грозным обвинением: разбойник, мародёр, насильник, вот оно лицо Красной Армии.

Делу был дан судебный ход. Газеты раздули пламя.

И вот показательный суд. В том самом дворе. От всех воинских частей, дислоцирующихся в Будапеште, доставили представителей. Просторный двор замыкался с трёх сторон бетонным забором, а по внешнюю сторону забора, также подковой, возвышались этажи каменных домов. Из каждого раскрытого окна торчали головы любопытствующих жильцов. Я стоял во втором ряду у забора. Середину двора покрывал мягкий зелёный ковёр мелкой травки-муравки. Возвышался невысокий помост из досок, на помосте пустой стол и несколько табуреток. Позади сооружения, шагах в десяти, была свежевырытая не глубокая яма, штыка на два, не больше, с земляным бруствером. Сотни представителей воинских частей стояли аккуратным строем по всему внутреннему периметру ограды и молчали, не зная, что всё это значит. Ближе к воротам большой группой также молча стояли гражданские мадьяры. Всех угнетало затянувшееся ожидание. Понимали, что будет спектакль.

Но какой? Может, комедия, чтобы повеселиться.

Наконец в воротах появился зелёный «виллис», и следом «студебеккер» с крытым кузовом. Из «виллиса» выпрыгнули три бодрых полковника, резво взбежали на помост. Из другой машины выпрыгнули один за другим около десятка солдат, двое из них вооружены автоматами, остальные карабинами. Между ними находился Гена Солощев, совсем усохший, я его не сразу как-то и приметил, он был без ремня, со скрепленными за спиной руками, согнутый и скукоженный. Однако, когда вели его мимо строя, он выпрямился и шагал почти твёрдо, хотя тяжёлые, хлябающие, без портянок, без обмоток, без шнурков, на босую ногу обутые ботинки не позволяли шагать твёрдо. Таким же выпрямившимся он стоял на отведённом ему, как главному герою, месте – на кучке серой земли у края ямы. Полковники, сидя на помосте за столом, о чём-то переговаривались между собой, обменивались бумагами. Гена между тем медленно поворачивал голову, обводя взглядом такое скопление выстроившихся бойцов. О чём он думал в эти минуты? Вспоминал ли дом или его угнетённый мозг весь был поглощён разгадкой, зачем мы тут выстроились и чего ожидаем. Мне же навеялись картины того, как в колонии, на кожфабрике, в сырьевом цехе, Гена, боясь ослабнуть, превратиться в доходягу, верного кандидата в морг, жарил на костре лоскуты свиной шкуры и ел. Тогда ели все, но у Гены эта еда получалась с особым вкусом, будто ел он блины, жареные на сале матерью. Тогда-то он и испортил свой желудок, нарушил что-то во внутренностях своих. Его бы в армию, может, не взяли из лагеря, если бы он не скрыл свой хронический недуг.

Полковники, оставаясь на помосте, встали с табуреток, один из них, держа бумагу на значительном расстоянии от глаз, обнаруживши свою дальновзоркость, стал читать. Читал он почти пафосно, громко, с паузами. Голос у него был литой, для такого дела приспособленный. Переводчик, человек гражданский и находившийся в кучке гражданских людей, пользуясь паузами, успевал переводить чтение на мадьярский, и переводил

он также громко, держа перед губами конусообразный усилитель, чтобы слышно было и во дворе, и в окнах домов вокруг. Чтение было недолгим, последние слова заглушил пролетающий тяжёлый самолёт, перечерчивающий синее ясное небо с востока на запад, я не совсем понял смысла, поглядел на соседа по шеренге слева, на соседа справа, их лица были нервно напряжены и смущены. Тем временем в центре двора происходили быстрые перестановки. Сколько-то бойцов прошли к «студебеккеру», взяли из кузова носилки, какие-то ещё вещи и выжидали, стоя у машины.

Один из полковников сбежал с помоста, подошёл к Гене и, изображая на своём крупном лице брезгливость, сорвал с его пилотки звёздочку, затем с тем же отвращением, явно показным, сорвал с Гениной гимнастёрки жёлтенькую медаль «За Бухарест» и значок, полученный ещё во Флорештах за меткую стрельбу из окопа по двигающимся мишеням (я тогда, в молдавских Флорештах, тоже получил такой же значок). Судя по выражению чувств в лице Гены, он ничего ещё не понял в том спектакле, какой разыграли высокие командиры, эти полковники, сделав его главным трагическим героем. Вернее, чувств на его лице никаких не было. Замороженность, заторможенность, глухота – это и всё. Мой рассудок тоже не врубался в происходящее. Полноте, полковники и генералы, хватит разыгрывать трагикомедию. Тем временем группа других бойцов, обмундированных с иголочки, построилась в аккуратную линейку и под команду сержанта выстрелила, направив карабины стволами не куда-то, а в Гену. Гена упал с бруствера в земляное углубление, не произнеся никакого звука. Углубление, как я уже говорил, было мелким, и все со стороны могли видеть, как он там лежит, разбросивши ноги в ботинках, недвижимый. Сержант скомандовал стрелкам сократить дистанцию на сколько-то шагов, и повторить залп по той же цели. Стрелки исполнили. И тут-то несчастный Гена закрутился. Первый залп, значит, был ложным. Как кричал Гена! Как он кричал, наконец-то поняв, что с ним творят! Крик его состоял из одного только слова: «Мама», «мама», «мама»!.. После третьего залпа Гена уже не кричал и не бился. Однако полковник, тот, который читал приговор, достал из кобуры трофейный браунинг и произвёл контрольный выстрел в голову.

«Виллис» с судьями уехал на большой скорости. «Студебеккер» с трупом уехал следом, зрители в окнах домов исчезли. Угрюмые солдаты, призванные в свидетели, разошлись строем по своим подразделениям, политико-воспитательная задача наша, свидетелей, состояла в том, чтобы мы рассказали всем, всем, кто не присутствовал, рассказали бы, как свершился справедливый суд и исполнился праведный приговор насильнику и мародёру, такие термины были в приговоре. Вот я и рассказываю только теперь. А тогда, придя в казарму, я ничего никому не мог рассказать, я безумно плакал, как никогда над потерянными товарищами не плакал. Но без слёз плакал. Со слезами-то нельзя.

А между тем рядом, в Альпах, на горных склонах, Красная Армия, теряя тысячи бойцов, ломала яростное сопротивление гитлеровцев, которым уже некуда отступать, но ещё надеющихся изменить ход войны. Нам уже были известны приказы Гитлера, его штаба, рассылаемые по своим войскам. Приказы эти попадали к нам в роту чаще обрывками, найденными в освобождённых домах и в траншеях. Замполит переводил их на политзанятиях, если не зачитывал, то как-то комментировал. Была такая установка: насыщать наши мутные мозги сведениями о том, что делается в стане агонизирующего врага.

Чтобы врезалось в память и произвело соответствующую реакцию в наших душах, замполит вывешивал некоторые выдержки из тех приказов в ленкомнате, переведённые, конечно, на русский. Вот одна из них, подписанная генерал-фельдмаршалом Рундшtedтом: «Нашу борьбу следует довести до предельного упорства, а использование каждого боеспособного человека должно достигнуть максимальной степени. Каждый бункер, каждый квартал города и каждая деревня должны превратиться в крепость, у которой противник либо истечёт кровью, либо гарнизон этой крепости в рукопашном бою сам погибнет под её развалинами. Что же касается населения, то оно должно пожертвовать личной собственностью, уничтожив её, дабы она не досталась врагу. В этой суровой борьбе за существование немецкого народа, немецкой нации не должно щадиться ничто, даже памятники искусства. Отдадим же себя на службу фюреру и отечеству...»

Фюрерские крепости рушатся, оставшиеся в живых фюреровцы отходят дальше на Запад, на следующий километр, на следующую улицу, на следующий квартал, образуют новые крепости, которые опять рушатся...

Кроме развалин и мёртвых тел остаётся на отвоёванной территории ещё и ненависть к нам. Это злобное чувство может выплеснуться где угодно и из кого угодно: из старухи ли, выползшей из подвала, или из мальчишки, метнувшего мне в спину камень. Камень угодил вскользь, не очень больно, я обернулся, рыжая голова мальчишки торчала из-за угла разбитой стены, я погрозил ему, он спрятался, но выглянул в другом месте, не смирившийся. Камень по горбушке – это хорошо, лишь бы не пуля, – с благодарностью думаю я.

## ТАЙНАЯ СИЛА

С весёлым любопытством поглядела на меня девчонка, совсем юная, перебегая улицу, я ответил ей улыбкой, она тоже улыбнулась, вскинула

пушистые ресницы. После её улыбки я и вовсе растаял, обмяк сердцем, чего никак не следует делать. Девчонка качнула юбочкой, сделала лёгкий реверанс. Дальше я пошёл в состоянии влюблённости. Да, да, именно в состоянии влюблённости. Настолько пылкое, неустойчивое было у солдатика сердчишко. В тот день я чуть не подорвался на mine, установленной на газоне. Правильно бывалые фронтовики говорят: хочешь быть убитым – думай о зазнабах. Нет, мне быть убитым никак нельзя, мама ждёт, и сестрёнка младшая.

Я вернусь, буду их кормильцем. А на этот газон забрёл я сдуру. Обойти его надо было стороной, от дороги. Такие места начинены пехотными минами, и чтобы через них перейти, надо очень сосредоточиться. И тем не менее во сне девчонка приснилась. Почему-то не вся, а только глаза в пушистых ресницах, покорные и доверчивые. Этого оказалось достаточно, чтобы натянулись кальсоны. Мучительное состояние. Получается, что пока живой, живы в тебе и мужские потребности, хоть в зоне, хоть на войне.

Перемещаясь по чужезападным городам, крупным и некрупным, я убеждался, насколько здесь богаче живут люди, чем в моём Новосибирске, я видел. Заходишь в квартиру для проверки документов – мы сопровождали штабных офицеров, проверяющих документы, – а там ковры на стенах и на полу, диваны, стулья, шкафы, люстры, прочая предметность, и всё это такого изящества, какого никто из нас у себя в отечестве не видел и не мог видеть. Хозяев нет, квартира брошена со всем этим драгоценным барахлом, хозяева сбежали, боясь нас. В других квартирах такое же обстановочное хозяйство и тоже всё брошено на произвол судьбы.

– Стрелять их надо, – угрюмо выдавливал кто-нибудь, держа карабин с примкнутым штыком.

– Давить, – добавлял другой.

– Эксплуататоры, на рабочем народе нажились, – говорит третий, пробуя штыком шкаф, насколько крепка его зеркально-гладкая древесина.

Поскольку и в домах, расположенных в непосредственной близости от уцелевших заводских труб, явно предназначенных для жильцов не буржуйского сословия, не встречалось пролетарской бедности и голытьбы – на стенах и на полу тоже были фабричные мягкие, в разных расцветках, ковры, не табуретки с лавками стояли, а стулья и кровати мягкие, ширина их равна длине, хоть повдоль ложись, хоть поперёк, и зеркала в полстены над кроватью, – разговор наш насчёт эксплуатации одних другими терял остроту и заходил в тупик. Что в одних домах, что в других возникало гнетущее желание ширнуть штыком в какую-нибудь мебель или прикладом приложиться к зеркалу, которое назло отображает тебя во весь рост вместе со стоптанными головастыми ботинками, вместе с линялыми обмотками и такой же линялой, доставшейся тебе от убитого бойца пилоткой.

Штабные офицеры не разделяли наше солдатское настроение, и потому имущество в домах после нашего посещения в большинстве случаев оставалось непорченным. Действовал приказ верховного: за мародёрство и

всё такое преднамеренное – трибунал. Сколько уже было трибуналов!

Из политзанятий я знал – всем это разъяснялось доходчиво, – что всё богатое имущество сателлиты фашистской Германии, как и сама фашистская Германия, натащили себе из захваченных территорий СССР. Но тут же в моей голове не могла не возникнуть картина, как я с братом Васей за полгода до войны ходил доставать материал на костюм Васе и на рубаху мне в городской универмаг, расположенный в Новосибирске у мелькомбината. Очередь народ занимал с вечера, грелся у костров, к утру, к открытию магазина толпа собиралась в несколько сот, и в открытую дверь все лезли уже без всякой очереди, милиция пешая и конная не могла сдержать, здоровые попадали к прилавку первыми, слабых отталкивали. Чтобы достать ситец на рубашонку и дешёвое сукно на костюм, нам пришлось ходить на ночь всю неделю. Мне, мальчишке, удалось прошмыгнуть между ногами взрослых с риском быть задавленным на смерть, такие скорбные происшествия были чуть ли не каждый день, когда завозился в продажу ходовой товар. В одни руки отпускали продавцы только по три метра.

Вот и думай освободитель Европы: что мог завоеватель награть в СССР и таким образом облагодетельствовать себя?

В таком случае, зачем они на нас нападали, дуrolомы? Раздвоение мыслей. Или нападали только затем, чтобы обучить нас правильной, самодостаточной жизни? Какая благородная задача! Хо! За такие обнаруженные мысли – непременно вышка. Потому, солдатик, запечатай мысли свои в своём черепке и чтобы никакой щелки. Посекретничать с товарищем по оружию, с соседом по койкоместу? С ума сошёл. Год спустя, когда наш энкэвэдэшный батальон передислоцируется на Урал с задачей охраны важнейшего объекта химпроизводства, я такую глупость сделаю: что-то ляпну на ухо сослуживцу, с которым у нас была одна тумбочка на двоих. Славный такой парень, деревенский, каким-то сомнением с ним поделюсь, забыв, что из одного уха сущестует выход в другое ухо, откуда всё вылетит. И ведь совсем какой-то пустячок я скажу, тем не менее, уже на другой день со мной обстоятельно будет заниматься представитель беспощадного СМЕРШа. Про тот драматический случай я как-нибудь расскажу, если не забуду.

Чуть не стоила жизни всему взводу поездка на хутор вблизи от границы с Австрией.

Рота снарядилась на выполнение очередного задания. Выехали колонной «студебеккеров». За городом, где начинались сплошные виноградники, колонна разделилась. Наш взвод двумя машинами свернул на узкую дорогу, между садами, вправо. Сзади, за нами, двигалась брезентовая легковушка ротного. Тут для уточнения маршрута была сделана минутная остановка. Глядели карту. Ротный приказал взводному пересадить из грузовика в легковушку трёх солдат. Среди них в машине с ротным оказался и я. Такое доверие мне было оказано, думаю, по той причине, что я был узок телом и мало занимал в кабине места. Я сидел, держа карабин в ногах, между колен,

как раз за бритым затылком ротного. Это был старший лейтенант Плинтух, недавно назначенный в роту из госпиталя вместо прежнего капитана, которого отозвали куда-то. Когда сады кончились, началось широкое поле, обрезанное с левой стороны полосой хвойного леса. С другой стороны, на возвышенке, маячило у горизонта несколько сельских домиков. К этим строениям повернула первая машина, второй «студебеккер» за ней, а мы – следом. Через какое-то время, когда проехали полем метров триста, старший лейтенант Плинтух, пристально в бинокль вглядывавшийся в высоту, отчего-то забеспокоился, затылок его напрягся, побурел. Я услышал приказ ротного, отданный тихо, в полголоса: «Обогни первые машины...» Это он сказал водителю, сержанту Серёгину, который тотчас прибавил газу, выехал на сторону и через пару минут уже поравнялся с головным «студебеккером», где находился командир взвода.

– Сбавьте скорость до минимума. Доедете до первой лощины, свернёте к лесной полосе, но в полосу не въезжайте, – сказал ротный взводному.

И что-то ещё говорил, также быстро, на ходу, наклонившись и выставив голову из открытой дверцы кабины. Тогда вообще ездили с приоткрытыми или вовсе снятыми дверцами.

Теперь мы ехали впереди, а «студебеккеры» за нами на короткой дистанции. Я глядел по сторонам, никакой опасности в этом открытом широком поле не примечая, всё тут было мирно, тихо и спокойно. Небо перечерчивали птицы. Над лесом держалось лёгкое марево. Такая же дымка была над удалившимися виноградниками. Приближавшиеся на возвышенности строения обретали более чёткие очертания, это был, должно, хутор, в котором жила большая семья земледельцев. Таких хуторов наша рота объехала в долине Дуная десятки, обычно через день-два после того, как уходили наступающие войска со своими полками и дивизиями вслед за отступающими немцами.

Задача у нас была одна, как я уже говорил: проверить надёжность тыла и обеспечить мирную трудовую жизнь местному населению, защитить его от странствующих и кочующих мародёров, у которых нет национальности.

Мародёры обычно ведут себя по отношению к нам не агрессивно, они, завидев нас, либо прячутся, либо убегают. Вот и сейчас мы ехали, чтобы проверить населённое местечко, познакомиться, поговорить с людьми, показать им, что ничего страшного мы, советские чекисты, краснопогонники, не представляем, уверить их, что теперь всё будет мирно и хорошо.

Станным было то обстоятельство, что ничего не бросилось в глаза, как я ни вглядывался, что тут несколько дней назад, у подножия Карпат, прошли бои. А они ведь прошли где-то здесь, именно на этих отлогих склонах. Сводки ещё два дня назад сообщали, что передовая линия фронта сдвинулась в глубину гор, из Карпат в Альпы, вон за те крутые вершины, сливающиеся с белыми облаками.

Тем временем, пока я так думал, размышлял, сержант Серёгин доехал

до лощины, свернул в неё и повёл машину по ней. За нами свернули и «студебеккеры». Теперь все машины шли на повышенной скорости. Водители чудом успевали лавировать то влево, то вправо по ручью. Совсем рядом, оттуда, куда мы направлялись, смачно захлопали выстрелы, и на противоположной стороне лощины взорвались крупные мины. Под навесом холма, в лощине, мы были неуязвимы.

Стало ясно, что мы ушли от прямого расстрела. Нас ожидали, а мы ушли. Но кто там, в хуторе, мог нас ожидать с таким горячим гостеприимством?

Мы, заняв круговую оборону, ждали. Чего ждали? Неизвестно чего. Путь к лесу преграждали рвущиеся мины. Старший лейтенант послал туда, к лесу, свою машину – проскочить на большой скорости с каким-то заданием. Сержант Серёгин чуть ли не с места взял предельную скорость, он, делая на поле зигзаги, проскочил до опушки. Но лесная опушка, должно, была пристрелена с немецкой точностью. И машина была накрыта мгновенно – когда осела поднятая, взвихренная земля, то я уж не увидел никакой машины. Командир роты старший лейтенант Плинтух поднёс к глазам бинокль. Потом он обнажил голову. Всё ясно. Жалко сержанта Серёгина. К таким ситуациям невозможно привыкнуть: вот только, минуту назад, был сержант, кряжистый, полный сил и здоровья парень, а уже нет его. Никакой тревоги не читалось на его лице по поводу того, что с ним вот случится. Когда он поехал, я видел его глаза: сосредоточенная уверенность, больше ничего.

Мы сидели в западне. С одной стороны пристреленный лес, с другой стороны – гребень земли, размытой ручьём. Окопчик я себе соорудил так, что обозрение было только впереди и слева, а с другой стороны никакого обозрения, взгляд упирался в земляной гребень, по которому между нависающих плетей дикого винограда шмыгали жёлтые в крапину ящерицы. При круговой обороне я не мог тут подобрать себе более выгодной позиции. Мешал вот этот обрыв.

Если учесть, что у моих соседей был такой же половинчатый обзор, то, получалось, круговой обороны у нас не было, а, по сути, было просто сидение почти вслепую. Если те враги, которые нас сюда загнали, не дураки, а они наверняка не дураки, то они быстро сообразят, что с нами надо сейчас сделать – забросать сверху гранатами. Увидеть же, как враг приблизится по склону, нам невозможно. И оборониться не успеем.

Предчувствия конца, однако, нет в сердце. Я даже позволяю себе отвлечься от горестного настроения. Впрочем, это от меня не зависит – позволяю я себе или нет. Голова сама собой думает о том, что ей взбредёт: так, разные пустяки лезут. И глаза проявляют свой интерес независимо от моего настроения – успевают следить за ящерицами. Эх, какие вёрткие зверушки! Одна ящерица, разрисованная в оранжево-серую клеточку, серебристая острая мордочка, – спустилась по ветке над головой солдата и, зависнув, изучает, определяет, на сколько этот солдатик опасен для её



жизни. Выходит, совсем не опасен.

Но ведь предчувствия конца не было и у сержанта Серёгина. Он даже не выкурил папиросу, какую дал ему старший лейтенант Плинтух, а заткнул себе за ухо, под пилотку: дескать, после искурию.

Искурил!

Командир роты оценивал критичность ситуации лучше. И я потому скоро оказался в положении ящерицы, только не той, которая висела на ветке над моей головой, а той, которая ползала по земляному откосу. Впереди полз сам старший лейтенант, я, следуя за ним, мог рассматривать каблуки его трофейных немецких сапог с подковками. «А рядовым-то запрещено ходить в немецких сапогах», – подумал я некстати. Рядом полз солдат Мутренин, по-лагерному Мутря, он полз интересно: зад оттопыривал так, что по нему мог резануть пулемёт, а голову вжимал в травяной покров, будто намеревался врезаться в землю, как сошник плуга, отчего мелкие коренья, горько пахнущие полынью, царапали ему в кровь щёки. Вот бегемот! Ведь всех учили, как передвигаться по-пластунски. Он что, забыл, что ли? Я достал его штыком, он повернул голову ко мне, глаза его были испуганы. «Ты что?» – спросил он. Я рукой показал ему, какую часть тела надо прижать, он, должно, не понял и продолжал ползти также. Я ещё достал его штыком, он снова повернул голову, теперь в напряжённом взгляде была злоба. «Жопу убери, дурак!» – сказал я. На нас обратил внимание старший лейтенант, оглянулся, не поднимая головы. Он был раза в два старше нас, умел держать свои эмоции, лицо его оставалось спокойным, более спокойным, чем когда мы ехали в машине.

Потребовалось проползти до широкого куста, чтобы иметь достаточную зону обозрения. До хутора оставалось недалеко, у изгороди паслась чёрно-белая корова, над крышей летали голуби.

Ничто не обнаруживало присутствия затаившегося врага. А может, миномёт стрелял совсем не отсюда, а откуда-то с другого места? Вон из тех садов, например. Ну да, за дорогой, где яблони смыкаются сплошными кронами и образуют густую заросль – там может прятаться не одна миномётная батарея, а десять батарей. Я вглядывался до рези в глазах и в сторону дворов, и в сторону сада. Ни одного человеческого силуэта, ни там, ни там. Становилось томительно, и от навалившейся тишины слышалось стучание сердца. Я пробовал угадать, что планирует ротный. Он лежал впереди, скрываемый ветками. Насколько я соображаю своим умом, конечно, он ничего не может планировать пока не определит обстановку, в которую мы вляпались. А вляпались мы, конечно, так, что глупее уже некуда. Ну, а когда прояснится обстановка, тогда что? И тогда, по-моему, ничего путного нельзя предпринять с нашими силами. У нас карабины, да на весь личный состав два или три автомата – даже пулемёта нет – а у врага крупноствольная миномётная батарея, та самая страшная, именуемая «Ванюша». Но задача-то одна: обнаружить и обезвредить. Ох, как бы нас самих не обнаружили и не обезвредили! Впрочем, ротный про это думает.

Пусть думает. А моё солдатское дело – выполнять команды. Команд нет, и потому томительно. Солнце между тем снижалось к горам. В горах темнота наступает почти мгновенно, лишь тогда можно будет поменять позицию, отойти в лес без риска.

Пока я так размышлял своей головой, старший лейтенант Плинтух сделал мне знак рукой, я подполз к нему.

– Спустись в овраг, скажи командиру взвода, пусть установит наблюдение за объектом с правого фланга – сказал он. И, когда я уже развернулся, он конкретизировал, добавив: – Наблюдение пусть установит со стороны изгороди, где пасётся корова.

Я соскользнул в овраг, перевалившись через бруствер, упал мешком чуть ли не на голову кому-то, за что, конечно, не мог не получить прикладом ниже спины.

– Ты что, ослеп? – взъярился боец, это был солдат 2-го отделения Гусев, находившийся под самым обрывом.

– А ты не возникай. Я тебя сам могу прикладом по шарабану, – отвечал я.

– А вот попробуй, – заартачился Гусев, не очень отличающийся храбростью.

– И попробую, – сказал я, однако намерения вступать в драку у меня не было, это понимал Гусев и оттого он и напускал на себя непримиримое выражение.

Весь взвод был занят тем, что продолжал укреплять оборонную позицию. Кроме окопов была вырыта и траншея. Поработали ребята, пока я отсутствовал. Жить хотят, а не сдаваться. Впрочем, солдат зарывается в землю по самую макушку не оттого, что жить хочет, а оттого, что командир приказывает. Ведь пока солдат живой, он не думает, что его убьют, а когда убьют, тогда уж и вовсе не думает. Поэтому единственное желание во всякий удобный момент – посидеть, иль полежать.

Передав взводному распоряжение ротного, я вернулся на прежнее место. Проползая мимо Мутренина, я обнаружил его неестественно вытянувшимся, лицом уткнувшимся в землю, пилотка лежала рядом на траве.

– Эй, спишь, что ли? – толкнул я его.

Мутренин не среагировал. И тут я заметил, что на пилотке кровь и на затылке кровь. Догадался – снайпер.

Старший лейтенант лежал за тем же кустом с закинутой за спину левой рукой, в которой он держал бинокль.

– Товарищ старший лейтенант, – обратился я. – Ваше приказание выполнено...

Ротный не повернулся на мой голос. И тогда я, выждав, повторил громче:

– Товарищ старший лейтенант...

В бритом затылке ротного была та же кровавая метка, что и у

Мутренина. Ужас овладел моим рассудком, моё тело сжалось в нервный комок, сделалось настолько холодно, что зубы сами собой застучали от озноба. Какая-то паническая сила включилась во мне, помимо воли я вскочил на ноги, но запнулся о Мутренина, упал.

Сознание вернулось и я осторожно, вплющиваясь в землю, стал сползать назад.

Но оставлять командира раненого или убитого на поле боя – высшее бесчестие, равнозначно предательству. Я устыдился своей трусости. В следующую минуту, пренебрегая опасностью и не думая о том, что где-то подлый снайпер ловит на мушку мою голову, я уже тащил старлея, ухватив его за предплечье. К моей неопишуемой радости ротный вдруг застонал и передвинул левую руку. Ага, живой! Теперь ответственность во мне удесятерилась, я уже не мог рисковать собой, мне надо было доставить ротного вниз, в расположение взвода, доставить живым, а потому самому остаться неподстреленным. Вниз по склону, по траве, волочить старлея оказалось делом несложным. И прежде чем спускать его с обрыва, я крикнул сверху ребятам, те поддержали и положили ротного на плащпалатку, расстеленную по брустверу траншеи. Я вернулся на склон холма и тем же способом доставил Мутренина. Лицо Мутренина было спокойным, лишь несколько озабоченным, с вертикальной морщинкой между бровями, я ожидал, что он тоже вдруг застонет, мне очень хотелось, чтобы он застонал, я прислушивался напряжённо, однако Мутренин не застонал. Уже внизу, сидя под защитой земляного вала, несколько остыв от горячки, я с удивлением подумал: почему этот снайпер не подстрелил заодно и меня, ведь он не мог не приметить и мою голову через свой всевидящий прибор. Зачем-то он сделал мне подарок – подарил жизнь. Что? Мне быть ему, паскуднику, благодарным?

Чувства этого в моём сердце не было. Как и чувства запоздалого страха.

Я уже как-то признавался, что у меня ни разу не возникало ни мысли, ни ощущения, что жизнь моя может вот вдруг оборваться. Слишком молод я был для таких переживаний. Иногда под впечатлением тяжёлых обстоятельств я даже пробовал насильно настроить свои легковесные мысли на трагическую стезю, на чёрный тупик. Но ничего из этого не получалось, за тупиком всегда открывался проход к свету, да и самого тупика, как такового, не возникало, а была сплошная перспектива, и мне оставалось развеселиться. Говорят: не поддайся унынию. Но это не я не поддаюсь унынию. Это какая-то тайная сила делает меня помимо воли моей, я тут как бы не причём. Есть я, есть сторонняя сила, которой не хочется, чтобы я погрузился в гибельное уныние. А коль эта сила тебя сопровождает, значит, она тебя и оберегает не только от уныния, душевного упадка, а и от снайперской пули. Так, что ли?

Брат Вася, считающийся здоровее, умнее и добрее меня, погиб под Сталинградом, с ним, что, не было этой оберегающей наш род силы?

Почему она выбрала меня, а не его, старшего, более достойного? Никто не объяснит. Боже, как мне жаль Васю, восемнадцатилетнего богатыря с льняными волосами, в ком добродушия и благородства было через край! Васю сразу с завода, где он работал термистом, от огненной печи бросили в огненный котёл, где он сразу и сгорел вместе со своим батальоном, как пучок сена, не оставив и пепла после себя на земле.

Я же что оставлю, какой пепел?

Судьбе зачем-то потребовалось не дать мне в заводском цехе дозреть календарным возрастом до войны, а понадобилось зачем-то прокрутить несмышленного пацана, безотцовщину, сначала через колонию, через смертные стылые лагерные бараки, через унижения, а потом уж определить на войну. Для какого резона надо было судьбе делать такой зигзаг? Только ли для испытания, закалки, укрепления духа ради или какой ещё в этом смысл? И вот сегодня ротный взял меня с собой на холм, чтобы обеспечить наблюдение за врагом. Почему меня-то? Другие-то есть посмышленнее и силой покрепче. В глазах он что-то в моих увидел... Что? Отсутствие сомнения в то, что будем живы? Ну, это, конечно, глупость. И тем не менее – мистика. Никакого снайпера не было, а как я отлучился на короткое время – вот и снайпер объявился.

Ладно, хватит мистических размышлений.

Скажу, что нашему ротному повезло. Старлея задела пуля лишь касательно. В сознание он пришёл вскоре. С перебинтованной головой он о чём-то говорил со взводным. Вот-вот солнце уйдёт за гору и наступит темнота. Ушедшая в разведку группа ещё не вернулась. И вернётся ли? До наступления ночи она должна вернуться. Без таких ребят взвод не может сняться и, пользуясь темнотой, уйти к лесу. Оставаться до утра в этой западне нет смысла. Ночью, если мы не отойдём, то окажемся в более дурацком положении. Я не знаю, в каком положении мы окажемся, но предполагаю, это будет много хуже, чем сейчас. Такое моё мнение.

А тем временем ящерицы продолжали ползать меж окопами. Твари ещё не утратили любопытства к советским солдатам, и мне было забавно разгадать, что они о нас думают.

Как я и предполагал, ночью взвод снялся с обороны. Но пошли мы не к лесу, а дальше по оврагу, который забирал вправо. Шли без всякого интервала, натываясь один на другого. Никто не звякал ни котелком, ни оружием. Рассвет с лёгким туманом, скатывающимся с горы, застал нас на другой стороне хутора, где мы расположились вдоль длинного сарая. Отсюда, разбившись на группы, взвод короткими заученными перебежками пошёл на захват строений, начиная с сарая. Захват, к удивлению, прошёл без единого выстрела, потому что не встретили мы никакого сопротивления. И некому было оказывать нам сопротивление. Мирный объект. Были тут несколько пожилых женщин и один старик с повреждёнными ногами. Обследование подвалов и чердаков ничего не дало – никакой миномётной батареи, ни вообще никакого присутствия вражеской силы. На чердаках

висели копчёные свиные окорока, тёмно-бурые, аппетитно лоснящиеся, а в подвалах бочонки, должно, вином наполненные. О том, чтобы опробовать то или другое, не могло быть и намёка, так как действие это было в приказе причислено к разряду мародёрства, а уличенного в мародёрстве ротный мог застрелить солдата на месте.

Ни женщины, ни старик не показали, что вчера здесь были немцы, говорили, что немцы отступили неделю назад и больше не возвращались.

Мы пробывали на хуторе полдня, в обед выехали на «студебеккерах», и едва отъехали по дороге вдоль виноградников, нас опять обстреляли из того же миномёта. Передний «студебеккер» перевернулся, угодив правыми колёсами в промоину, и загорелся. Я был во второй машине, выскочил, успел добежать до воронки, укрылся в ней. Осколки и взвихренные комья земли летели над головой.

Для повторного прочёсывания местности дополнительно прибыли ещё две роты и с ними командир батальона. Произвели осмотр всех мелких оврагов, заросших кустарником, которые служили местом обитания зайцев и фазанов.

Главной опасностью было то, что на любом шагу могла оказаться мина. Шагнул и радуйся, что остался жив. Следующего шага может и не быть. Такое вот состояние в теле, начиная от ступни, от пятки и до макушки, где волосы поднимают пилотку. Амплитуда между крайностями – предельный взлёт восторга (живой!) и предельное обрушение сердца – страх.

Вымётывающиеся зайцы и взлетающие с треском крыльев толстые фазаны создавали некоторую психическую разрядку.

Миномётное орудие было обнаружено в саду на склоне холма в четверти километра от фермы. Оборудованное в яме и замаскированное дерном, оно могло бы остаться незамеченным, если бы боец Матюхин не провалился.

А провалился он не одной ногой, а сразу обеими, да так, что снаружи осталась лишь слетевшая с головы пилотка. Видевший это сержант Осколин, находившийся поблизости от бойца, подбежал на выручку и тоже угодил туда же. Растолкав дернину, нарезанную пластами, мы обнаружили перед своими лицами широкое жерло трубы, выставленной из-под земли. Это и был миномёт крупного калибра, способный поражать цель на несколько километров. Отсюда, со склона, обозревались окрестности далеко, включая стратегическую дорогу, ведущую в город.

При миномёте не оказалось никого. Враг ушёл. Дополнительная прочёска территории сада не дала результатов, если не считать обнаруженного под абрикосовым деревом тайника с полдюжиной немецких гранат, винтовкой и патронами в картонной коробке.

Всё это врезается в мою память трагической меткой.

Вот так получилось. Местные жители нам правду редко говорили, они были все на стороне режима, который мы разрушили и продолжали

разрушать своим непрошеным приходом. Все они были гады, подонки, сволочи, лелеящие надежду нас извести и захоронить, и это очень затрудняло наши боевые действия, направленные на установление стабильной мирной жизни на освобождённой территории.

Тут следует рассказать о том, что после победы, в доброе мирное время, мне доведётся работать с парнем по фамилии – Плинтух. Это будет в пятьдесят каком-то году далеко отсюда, в Иркутской области, на строительстве железнодорожной ветки – Тайшет-Братск. Я буду работать в плановом отделе нормировщиком, к нам на практику придёт студент Новосибирского топографического техникума, стеснительный, с девичьим круглым лицом, хотя и с зачатками усов, наличие которых с трудом замечалось. В отделе, чтобы придать практиканту веса, называли его не по имени, не Олег, а «товарищ Плинтух». Парень от такого обращения внутренне подтягивался, взрослел, обретал уверенность. И когда слышал свою фамилию из полуоткрытой двери кабинета начальника отдела – начальник имел привычку басисто кричать на весь отдел: такой-то, такая-то, зайдите ко мне! – первые дни испуганно втягивал голову в плечи, а потом перестал робеть, на вызов шёл сосредоточенный, держа под локтем папку с подготовленными бумагами.

Однажды нам выпало вместе идти на участок, где бригада работяг укрепляла насыпь. Место там низинное, болотистое, насыпь плыла, приходилось её крепить камнями и листовыми брёвнами, раскладываемыми клеткой. Попутной дрезины не оказалось чтобы доехать, и мы пошли пешком. Шпалы ещё не улежались, не просели, мы прыгали по ним, как по ступеням лестницы. Путь был хоть и не длинный, километра четыре, но от непрерывного прыганья ноги устали, мы сели отдохнуть. Практикант раскрыл самодельный, из старого плащпалаточного зелёного брезента, планшет, углубился в чтение своих схем. Зелёный планшет напомнил мне военное время. В батальоне у всех ротных и взводных командиров такие планшеты, только у командира батальона планшет был кожаный, фабричный, настоящий. Вещь, которая была у практиканта, явно фронтовая, она даже пробита в нескольких местах, и ткань заложматилась.

– Откуда антиквариат? – указал я на планшет.

– От бати, – ответил парень с явным нежеланием вести разговор.

– А-а, – сказал я и тоже стал думать о предстоящей работе. Требовалось рассчитать в соответствии с условиями труда рабочие нормы. Условия тяжёлые, грунт плывёт даже будучи забитый крупными камнями, одну и ту же работу бригада переделывает по три, четыре раза, потому жалобы на низкий заработок.

Бригадир встретил меня злой, а рабочие чуть ли не кидались драться.

К такому обращению я уже давно привык: не было случая, когда бы рабочие были довольные нормами. Потому нормировщик на стройке – объект для матюгов.

– Разберёмся, – говорил я. – Разберёмся.

– Знаем, как твоя контора разберётся, – кричали рабочие.

Контора, верно, старалась завышать нормы, из этого складывалась экономия отпущенных на стройку финансовых средств, следовательно, повышалась и премия конторщиков, включая и начальника отдела, придирчиво контролирующего расчеты нормировщика. Честно сказать, я тоже был не против повышенной премии, ведь на моём иждивении мама и младшая больная сестра.

На обратном пути я зашёл в общежитие, чтобы посмотреть, как устроен быт нашего юного студента. Первое, что я увидел на стене комнаты, была фотография группы военных. Это бойцы нашей роты, вернувшиеся в расположение с задания, вместе с командиром роты. Я тоже участвовал в том задании, но в снимок почему-то не попал, да и вообще меня не фотографировали, для фотографирования отбирали других. Я тогда, кажется, был отозван на пост. Было это в венгерской местности, близко от гор. Карточку старшина выдал солдатам уже после победы, когда многих на ней уже не было в живых. Тем, кого не было в живых, старшина послал карточки домой родным.

– Чья у тебя эта фотокарточка? – спросил я, почувствовав учащённый стук сердца?

– Батина, – тихо сказал парень и осторожно указал пальцем. – Вот он, здесь. Указал на нашего ротного командира старшего лейтенанта Плинтуха. – Сперва похоронка маме пришла, а потом и вещи его пришли. В атаку с автоматом шёл и погиб. Узнать бы кого, встретив из сослуживцев, как это было. Мы с мамой к той братской могиле ездили, я тогда ещё первоклассником был, уже никого не нашли, кто с ним служил.

У меня потемнело в глазах. «Студебеккер» накрыло миной, и всем, кто был там, наступила мгновенная крышка. Машину разбросало по частям и людей, конечно, тоже. На моих глазах это. К тому же там что-то ещё загорелось. Следующий «Студебеккер», в котором ехал я, проскочил мимо, за холмом наша машина уже была вне зоны поражения. Так я остался жив.

А в передней машине, где ехал старший лейтенант Плинтух, никто не уцелел. Подбирать останки мы вернулись лишь на другой день, когда прочёсана была вся местность. Прочёсана с такой основательностью и мстительной злостью, с какой мы, пожалуй, никогда раньше не делали.

Действительность и фотография. Парень не так представляет отца на войне, как было. Я не стал ничего ему рассказывать. На карточке были те ребята, которые ехали в первом «Студебеккере». Я мог бы тоже ехать в той, первой машине, но задержался, помогая телефонисту скатывать катушку и, не успев занять место в первой машине, впрыгнул во вторую. Теперь, спустя годы, память выхватывала подробности, а в левой стороне груди щемило так, будто только сейчас, в этом барачном общежитии, в этой комнате, долетел до меня осколок, полагающийся мне. Боль утраты товарищей с годами усиливается, а не утихает, не исчезает, она просто

отходит в укромное место груди, а потом вдруг обнаруживается со свежей нарастающей силой.

Я не стал ничего рассказывать парню. С того дня, как значительно старший и немало в жизни повидавший, я взял над ним опеку и старался оберегать его. На стройке было достаточно бродячего народа, разных шалопаев, ищущих лёгкой весёлой жизни, шестнадцатилетний парень мог попасть под их влияние. Теперь я был для Олега Плинтуха командиром, как его отец, старший лейтенант Плинтух, был на войне командиром для меня. Не знаю, по душе ли было парню моё самозванное опекуновство или нет, однако от дружбы не бежал и при выборе книг в поселковой библиотеке придерживался моих рекомендаций, чему я был, понятно, очень рад.

Дальше судьба сына ротного командира сложится славно. Он попадёт в экспедицию знаменитого топографа и писателя Георгия Федосеева, автора книг «Мы идём по Восточному Саяну» и «Злой дух Ямбуя», пройдёт два или три раза по Монголии, выполнит топографические изыскания, потом, заведя свою семью, осядет в должности руководителя какой-то крупной конторы в Новосибирске. В девяностые годы он пришлёт мне пару писем, в одном из них будет сообщено: «Выхожу на заслуженную пенсию, но жизнь на этом не кончается».

Переписка наша, однако, на этом закончилась. Время очень непонятное наступило. Даже для моего поколения, казалось бы, перенёсшего столь невзгод с самого раннего детства – тоже непонятное.

## ВЕНА

Сюда прибыли мы колонной «студебеккеров» ночью в середине апреля 1945 года. Остановились под какой-то стеной, поднимающейся высоко к чёрному небу. Стена была настолько разбитой, что пробоины угадывались в темноте. Едва разгрузившись, рота ушла выполнять очередную оперативную задачу, а мне выпало остаться часовым возле машин. Враг мог сидеть, затаившись где-нибудь на этажах и следить. Бдительность, бдительность и ещё раз бдительность, наказывал ротный. Сохранить машины и самому уцелеть.

Я не знал, на какое задание и куда ушла рота. И не полагалось мне знать. Всякие сведения оперативно-тактического характера, понятно, держатся в секрете. Даже после того, когда ребята вернутся, разговоров откровенных не может быть, ну, разве только какие-то намёки. Почистят оружие, достанут из вещмешков сухой паёк, поедят и прилягут подремать, если, конечно, обстоятельства позволят.

По другую сторону колонны стоял в охране мой земляк Афонин.

Он полушёпотом спросил:

– Курить будешь? Уши, поди, опухли.

– А-а, – обрадовался я. – Давай.

Афонин пошелестел плащ-палаткой. Он на днях стоял на посту при каком-то складе и добыл особое курево – длинные, как карандаши,



сигареты.

Я такие прежде не видел. Дерьмо, конечно, никакой крепости, лишь духами воняет, махра лучше. Тем не менее, подержать в губах, позатыгиваться непривычным духом – приятно. И Афонин это понимает, не скупится.

Пока мы курили, разразился дождь. Ух, какой дождина! Вместе с ливнем стали падать отламывающиеся от стены камни. В западных городах я обнаружил удивительную штуку: тяжёлая бомба угодит в серёдку здания, проломит крышу, пробьёт межэтажные плиты, взорвётся, вышибет всё изнутри, а вот стены развалить не сможет, только дыры произведёт. Стены лишь покосятся, накрелятся и порой так сильно накрелятся, что опасно по улице проходить, вот-вот рухнут, перегородив путь пешеходам и машинам. А ничего – люди ходят, транспорт движется. Стены нависают, а не валятся. Арматура внутри стен крепкая – в этом хитрость архитектора. И теперь отрывались и падали лишь тяжёлые ломти штукатурки.

В конце колонны мелькнул человеческий силуэт, Афонин побежал туда, но никого не обнаружил.

– Никого – шёпотом сказал он.

Через некоторое время послышалась автоматная очередь, звук её был глухим, придавлен. Стрельба повторилась совсем близко, по ту сторону стены, где-то у пролома. Однако полёта пуль не услышано, значит, стреляли не по нам.

Так мы дождались утра. А рота ещё не возвращалась. По улице пошли люди. Наши «студебеккеры» занимали часть тротуара, людям надо было обходить. Много было девчат, они шли стайками, фигурки их были настолько аккуратными и упругими, что эта упругость упитанного тела чувствовалась на расстоянии, и лица свежими, что невозможно было не заглядываться на них. Будто лишения войны и не коснулись обывателей этого огромного города, столицы приальпийского государства. Здания вот развалены, а жители не отошали. Гитлеровская армия, знать, не объела их.

– Братки, махорочки на скрутку бы. Очень уж истосковался по родной махорочке, – неожиданно услышал я родную речь. Обращался инвалид с костылём. – Из Смоленщины я, в 41-м немцы вывезли на заводы делать снаряды...

– Ты, значит, шестерил, делал снаряды, которыми убивали советских солдат? – сказал Афонин.

– Да уж так, – потупился инвалид. – А кто отказывался делать, тех расстреляли.

– У всех вот такое совпадение. Тебя не расстреляли, зато наших тысячу бойцов твоими снарядами расстреляли, – говорил Афонин, однако махорки из пачки инвалиду всыпал.

Инвалид, сделав мах костылём, пошагал, но вернулся. Курил вздых и молча стоял, наблюдая тяжёлым взглядом за улицей.

– Что на родину-то не торопишься? – спросил Афонин.

– Да ведь как туда, – не сразу ответил инвалид после очередной

глубокой затяжки. – Энкэвэдэ там встретит, расстреляют. Между огнями получилось...

Этот соотечественник далеко не первый, кого приходилось встречать на отвоёванной чужеземной территории: были вывезены, как рабочий скот, из родных земель, теперь боятся туда вернуться, потому что прощения не будет. Между двух огней.

Моя голова тогда мало об этом думала, точнее – совсем не думала, хотя могла бы очень серьёзно думать. Как-никак, опыт был: и колоний наглядился, и отца на моих глазах скручивали и увозили...

Девчата, собравшиеся на широком каменном крыльце (инвалид сказал, что это педагогический лицей), друг дружке показывали на нас, игриво привлекали наше внимание. И надо же было Афонину, дураку, закурить свою длиннющую, с мундштуком, сигарету, и этим самым он чуть не сгубил себя и меня заодно, потому что эти синички тугозадые, увидев, что русский солдат курит такие шикарные сигареты, тотчас сбежались и, бестолковые, стайкой окружили нас. Часовых-то, стоявших на боевом посту, окружили плотно! Каково? Верный кандей, а то и похуже. Синички щебетали и просили дать им таких сигарет. Одна, уже окончательно осмелев, тянулась погладить щеку Афонина, покрытую редким пушком, другая нахально гладила тонкими, с перламутровыми ноготками, пальчиками погоны на моём плече. Погоны, я уже говорил, в нашем батальоне, красные. Я чувствовал, что и физиономия у меня в этот момент такая же красная, если не более. Другие девчонки, лепеча по-своему, уже заглядывали в кузов «студебеккера». Мне надо было срочно производить какое-то действие, ну может, немедленно производить выстрел предупредительный в небо, тем самым распугать пигалиц. Но это было бы уже глупее глупого – такая мера. Смех на весь батальон будет. Открыл пальбу против девчат.

Выручил инвалид. Он что-то громко сказал девчатам на их языке, потряс костылём и те вмиг разлетелись.

Вот такая нехорошая история вышла.

Немцы и их сателлиты чувствовали себя на оккупированных восточных территориях хозяевами гораздо большими, чем они у себя в своей стране, дома. Но я-то вот и никто в роте не чувствует тут себя хозяином, нет такого ощущения, что я хозяин положения, вот беда, более того, нет и охоты становиться хозяином на чужой земле, в этом глубинная разница в натурах нас и их.

Сменяются, кочуют на земле народы. В Англии, говорят, сегодня живут совсем не потомки давних старожилов, в Греции – тоже, в Италии – тоже.

А дальше как будет? Фантазия решительно отказывается представлять, что Россию будут населять какие-то национальные сообщества, совсем не потомки русских будут когда-то россиянами. Будет Красноярск, будет Новосибирск, будет Томск, будет Москва, а народы-то совсем другие будут, другая культура, религия, другие языки. Или и названий-то нынешних не

останется?

Рота вернулась в полдень. Принесли несколько палаточных свёртков. Это значило, что рота недосчиталась кого-то. Я быстро оглядел ребят своего взвода – все, слава Богу, целы. Значит, это из других взводов потери.

Обогретая после дождя жарким солнцем Вена предстала совсем мирной, совсем не пугающей. Кипарисы над тротуарами создавали впечатление уюта, безмятежности. И народ, проходивший мимо, теперь и не замечал нас.

Не только не игнорировал, а и, говорю, не замечал. Ночные наши страхи теперь казались напрасными. Как быстро, оказывается, обстановка может менять настроение.

Ротный замполит требовал от нас знаний относительно западных стран, упирая на то, что освободитель и победитель – а мы, конечно, были таковыми – должен знать не только географию мест, куда пришёл, а и историю.

Так вот, Австрия находится в самом центре Европы – площадь её в квадратных километрах не помню, знаю лишь, если с вечера ты на «студбеккере» выехал от венгерской границы – а мы всегда выезжали с вечера, – то к середине ночи будешь уже у чехословацкой границы, то есть пересечёшь всю Австрию. В Сибири у нас за такое время от одного села до другого едва доберёшься. Поперёк проходит Дунай, начинающийся где-то в Альпах, примечательна река тем, что течение её таково, что если тут сесть в лодку, то через некоторое время окажешься в Одессе. По этому самому течению самосплавом спустились сотни тысяч советских бойцов, погибших при многократном форсировании реки. Все они попали в Чёрное море и оттого вода в нём из цвета чёрного переменилась на цвет лиловый. Батальон наш начал движение от Одессы, встречно, и так по реке достиг города Вены, скалистых Альп, прежде сибирякам скудно ведомым. Альпы, как я увидел, состоят из трёх отчётливых уровней, на переднем уровне склоны, заселённые густо людьми, благоухают садами, на втором – дикие леса, на третьем – отвесные скалы и толстые ледяные поля в ущельях. Проведённая ночь в засаде в таком вот ущелье, когда ты одет в шинельку, покажется за десять ночей, холод сырой, проникает в кость, и сибирский климат оттого вдруг покажется очень приятным. Эх, благодать была, когда в Томской колонии, расконвоированный, ездил по дрова на двух подводах!

В VI веке вместе с германскими племенами бродили племена славянские, близкие к тем, из которых потом образовались русичи. В XIII веке утвердились Габсбурги. Поясню: Габсбурги – это не просто правящая династия герцогов и эрцгерцогов, сюда входит и понятие об объединённых племенах многих национальностей Западной Европы, решивших жить одним крепким государством, дабы иметь возможность противостоять наступлению с юго-востока Османской империи. В 1-й мировой войне солдаты Австрии участвовали на стороне Германии. В 1938 году сюда пришёл гитлеровский фашизм, Австрия перестала быть самостоятельной,

произошло насильственное присоединение её к Германии...

Получается, мы Австрию освободили от немецкого насилия, пришли, чтобы вернуть ей отнятую у неё 7 лет назад самостоятельность. И австрийцы должны были бы встречать нас у каждого дома булками да виноградным вином. Они же этого не делают. Население напугано, что мы явились с завоевательской идеей: покорить и всё отнять, как воины Османской империи в XIII веке. Ох, была нужда у меня лично их тут покорять!

Чего мне хотелось, так это попасть в Берлин. Горячие сводки доносят, что Берлин окружён, сошлись фронты, образовалось бронированное кольцо... Вот-вот столица Германии падёт. Но о том, чтобы после окончания войны демобилизоваться и поехать домой, не ведётся и речи.

Не раз мне приходилось лазить по разгромленным оборонительным линиям. Инженерные сооружения, уходящие несколькими этажами в землю. Вся Европа в таких сооружениях.

Непонятно одно. Сообщается о какой-то дивизии, что она, трижды орденоносная, четырежды краснознамённая и всячески титулованная, с 41-го года героически и несокрушимо идёт от Москвы, и теперь вот уж подошла к самому гитлеровскому логову, много раз попадала в окружения, с боями с честью прорывалась. Всё это так. Но ведь дивизия из людей состоит, по этим людям враг стрелял, не мог он не стрелять из своих укреплений, когда краснознаменосцы напролом бежали в атаку (в атаку не ползут, а бегут), а после каждой атаки, известно, сохраняются в строю только пятеро из каждого десятка, из сотни пятьдесят, из тысячи пятьсот... И это при удачном обстоятельстве. При менее удачной ситуации – 75 процентов полегают, будто вызревшие злаки под колхозной лобогрейкой. Теперь помножьте число атак на число скошенных в каждой атаке. Это уже выйдет не дивизия, а натуральная армия. По численности. Откуда же эта армия взялась, если была-то всего одна дивизия? Личный состав, значит, подновлялся. Десять раз подновлялся, сто раз... Сегодня выкосили, завтра добавили свежих бойцов. Завтра выкосят, послезавтра добавят. И т.д. Как можно говорить при этом о целостности, о подвигах дивизии, если в ней не сохранилось, не уцелело ни одного изначального бойца, в изначальном личном составе ни одного командира, весь тысячекилометровый путь дивизии усеян телами! И командир-то дивизии давно не тот, того, первого-то, снарядом на наблюдательном пункте разорвало ещё осенью 41-го.

Сохранилась, выходит, не дивизия, а название её. Понимаю эту традицию. Но ведь здравый смысл возмущается.

Батальон наш стоял у реки Нейсе, у притока Одры. Впереди располагалась знатная такая, очень знатная и прославленная пехотная дивизия, готовившаяся к форсированию водного рубежа. С левого фланга к подразделениям дивизии примыкали другие соединения.

Ночью приехал маршал Конев. По сложной системе траншей он прошёл на наблюдательный пункт, оборудованный у самой воды. Здесь планировался главный прорыв, то есть, отсюда должны двинуться первые

подразделения, наиболее собранные и мобильные, а остальные последуют за ними, расширяя фронт. Данный наблюдательный пункт был оборудован в блиндаже, построенном нами накануне из свежих брёвен, заготовленных тут же, на берегу. Маршал Конев, войдя в блиндаж, обратил внимание на янтарные подтёки смолы на затёсах соснового дерева.

– Добрый теремок, – отметил он бодрым голосом, скрывая иронию. – Знать, не очень рвётесь вперед, коль так обустроились.

– Люди готовы к наступлению, рвутся в бой, товарищ маршал, – отвечал комдив. – Сокрушим врага в его поганом логове.

– Врага-то сокрушим, дело решённое. И то, что бойцы в бой рвутся – хорошо. Только вот бойцов-то надо как-то побережь. Соппротивление будет бешеным, – Конев ещё раз оглядел прочный блиндаж, колупнул ногтем кусочек мягкой смолы и положил себе на язык. – После войны хорошо бы тут музейный уголок сделать, память в натуральном виде сохранить, чтобы туристам показывать. Память о тех героях, которым не дано будет дожить до Победы.

Маршал Конев поговорил коротко по телефону с командующими армиями, в том числе и с командующим 2-й армией Войска Польского, которая тоже ожидала сигнала к наступлению, начать форсирование Нейсе.

К слову о подвиге. Само собой думается об этом. Однако есть поверье: не надо на этом сосредотачиваться. Ни одного дня не проходит, чтобы нам не говорили о подвигах. И о симпатичном замполите, которого убила фашистская пуля, но который добежал до подразделения и, понимая, что он убит, успел передать командиру важные сведения. И о телефонисте, который, убитый, держал зубами концы порванного провода. И о стрелке, сидящем в окопе, сбившем из карабина два «мессершмита» и погибшем от пулемётной очереди третьего «мессершмита». Многие десятки примеров проявления высокого духа, в том числе и закрытие своим телом амбразуры.

Примеры, однако, не вдохновляли. Угнетали. Всё внутри сжималось при мысли, что мир останется, а тебя не будет, и уж не дождутся дома родные.

Энтузиазм в бою – признак психического расстройства, в таком состоянии ратную работу хорошо не исполнишь и себя не сохранишь.

Что-то ждёт в этом наступлении? Если верить неоткрытой статистике (знает каждый боец), что из боёв, связанных с форсированием рек, выходят из десятка только трое-четверо, то не сложно представить, какая мрачная туча похоронок уже завтра пойдёт на Родину. Разница в судьбах бойцов, которым здесь уготован конец, лишь в том, что кто-то осядет на дно (это худший, по-моему, вариант), а кто-то, одолев течение, выбежит на противоположный берег и, уже ликуя от удачи, наткнётся на встречный шквал горячего литого металла.

А над рекой была такая тишина, что, казалось, звякни немец на той

стороне котелком, будет слышно. Но с того берега не долетало ни звука, будто там никого нет. Глубоко в небе сверкали звёзды, однако весенний ночной мрак от этого не разрежался, а лежал на земле плотно, толстым, непроницаемым пластом. Догадывались немцы или нет, что прорыв будет происходить именно здесь, на этой речной излучине. Скорее всего, не просто догадывались, а наверняка знали, разведка у них отличная.

Подошёл командующий воздушной армией генерал Соловьёв. Маршал Конев ему сказал, что лётчики имеют шанс отличиться, и указал на небо: безоблачно, летай – не заблудишься. Воздушный командарм Соловьёв отвечал, что, да, погода благоприятствует, что лётчики непременно этим воспользуются, и доложил, что подняться в воздух и пойти на врага готовы столько боевых самолётов, сколько нигде прежде в переправах не участвовало.

Я молюсь, СЛЫША такие слова. Молюсь: может, на этот раз мрачная статистика изменится и похоронок в результате пойдёт меньше.

– Постарайтесь, чтобы гитлеровцы не успели опомниться, наседайте на их головы, ни минуты прорыву не оставляйте им, – говорит маршал Конев, как бы угадывая мысли рядового бойца.

Воздушный командарм Соловьёв, докладывая маршалу, непременно с явным удовлетворением подсчитывает, что всего лишь два года назад он мог выставить в бой не более трёхсот самолётов, теперь же страна дала ему в распоряжение почти две тысячи боевых крылатых машин с прекрасными лётными качествами, вот он и поднимет на рассвете эти армады соколов.

– В каждом квадрате неба будет по эскадрильи, – уточнил воздушный командарм, его полное лицо, тщательно выбритое, выражало уверенность.

– Ну-ну, – одобрил маршал Конев, но ни восторга, ни тем более энтузиазма в его голосе не было.

Зашёл разговор о том, как обеспечить маскировку. Конев сказал, что наилучшая маскировка в данных условиях – дымовая завеса. Кто-то сказал ему, что Жуков рекомендует применить так называемую прожекторную маскировку. Соседние фронты уже использовали большое количество прожекторов при наступлении.

– Прожектор ослепляет врага, и наступление наших подразделений на его позиции пойдёт успешнее, с меньшими потерями, – говорили Коневу.

– Где-то, может, это и так, – слабо усмехался маршал Конев. – Но в данных условиях будем устраивать дымовые завесы... Вопрос исчерпан.

Всем фронтовикам известны давние расхождения во мнениях Конева и Жукова по поводу прожекторов: Жуков говорит – приемлемо, Конев же говорит – ерунда.

Тем временем во всех подразделениях всю ночь проходили короткие митинги, солдаты и командиры перед знамёнами давали клятву: победить в предстоящем бою.

– Клянусь убить врага, отомстить за порушенную Родину, за отнятую

у советского народа мирную жизнь! – напрягался молодой, ещё не обстрелянный солдатик Иванов из колхоза «Восходящая Заря» Иркутской области. Их двое Ивановых из «Восходящей Зари» Иркутской области. Близнецы, Иван и Сергей, держатся друг возле друга. Политрук раздал молодым листочки, что надо говорить на митинге перед развёрнутым знаменем.

На серых лицах бойцов была тень конца. Только опытные воины умеют скрывать свои внутренние ощущения.

Ближе к утру над рекой повисла дымовая завеса, она протянулась по всему фронту. Через неё немцы уже ничего не могли разглядеть на нашей стороне, то же самое и мы ничего не могли увидеть на их стороне. Плотные клубы дыма скрыли намеченные места переправ.

Наступление началось в 6 часов 15 минут. Воинов, форсирующих реку, поддерживала артиллерия. На километре стреляло одновременно, как позднее выяснится, триста орудий и миномётов. Через каждые три шага – орудие. Сплошная дуга, состоящая из снарядов и мин, нависла над руслом реки. Ни голубь, разбуженный громом, ни воробей не могли пролететь. Немцы не отвечали, да и не могли они отвечать, потому что их снаряды, выпущенные навстречу, непременно бы натыкались в воздухе на советские снаряды. Впрочем, через некоторое время с немецкой стороны полетели снаряды, они густо рвались на нашем берегу и в воде. Нескончаемо летели за реку эскадрильи наших бомбардировщиков и где-то там пикировали.

Штурмовые пехотные подразделения сопровождалась танками.

К чему я об этом бое на реке Нейсе, в котором наш особый чекистский батальон участвовал лишь косвенно и в силу своих оперативных задач не мог участвовать напрямую, рассказываю? А к тому я, чтобы иметь возможность ещё раз коснуться вопроса о потерях, какие происходят неизбежно, даже при очень продуманном командованием тактических планах.

Дивизия, конечно, форсировала реку Нейсе, и, как напишут, успешно форсировала, а, достигнув противоположного берега, сходу вступила в бой с обороняющимся противником, выбила его из укреплений и перешла на своём участке, как опять же напишут, в дальнейшее победное наступление.

Так вот, в конце тех же суток, после победного форсирования, победной атаки, победного боя в траншеях и спецукреплениях, после победного дальнейшего наступления – так вот, говорю, после всего такого ультрапобедного, в дивизии осталось меньше одной пятой части личного состава, то есть, из каждого отделения восемь человек полегло, из каждого взвода – двадцать пять человек полегло.

А ведь победа занесена в историю дивизии. Сокрушительная победа! Военные историки не вспомнят о потерях, да они и не захотят обратить

внимание на это, они запишут подвиг в чистом виде, совершённый дивизией. Дивизией в целом, а не теми солдатами, которые заплатили жизнью своей.

После войны один немецкий генерал, вхожий в имперскую канцелярию, характеризуя Гитлера, напишет: «Он сам верил в число дивизий, которые часто представляли собой одни штабы, были обозначены на карте флажками и создавали впечатление боеспособных соединений».

В нашей армии отличие, по-моему, было лишь в том, что в иных полках и дивизиях не оставалось и штабов, оставались лишь символы да ещё флажки на карте в Кремле. А в пополнении новичками недостатка не было.

Такая вот методика и мозаика. На первом месте цель. А цель в данном случае великая, и она достигнута. Притом блестяще, с точки зрения верховного командования – достигнута. Кстати, об этом после напишут и немецкие штабные генералы: «Русские на реке Нейсе показали образец оперативного решения задачи».

Наша рота в тот день была задействована в санитарном подразделении. Функция очень тяжёлая. Братские могилы – это лучшее, что придумано на войне, чтобы успеть укрыть землёй отвоёвавшихся. Братья-близнецы Ивановы из колхоза «Восходящая Заря» Иркутской области, Ваня и Серёжа, лежали на обгащённом песке у воды рядышком, выражение их лиц было по-детски обиженное, будто обманули их, обманули, что же вы, дескать, наши советские командиры.

## ФЁДОРОВ И ДРУГИЕ

В Берлине гитлеровцы прекратили сопротивление, а в Праге не сдавались. Здесь сосредоточилось аж 65 дивизий противника, несколько бригад и полтора десятка отдельных полков. Для разгрома такой силы были направлены армии трёх Украинских фронтов. Наш отдельный батальон имел задачу в составе наступающих частей пробиться в Прагу. Однако, когда мы дошли до Бреслау, откуда только что был выбит фашистский гарнизон, приказ изменился. Батальону нашему было приказано задержаться.

Бреслау на реке Одра основан в глубокую древность, есть костёлы и дома, построенные десять веков назад. Живут чехи, поляки, турки... Отношение к нам разное. Чехи откровенно выражали восторженные чувства и когда встречали нас на улице, то норовили подать руку и пригласить в свои дома. В отличие от австрийских и венгерских городов народ здесь не сохранил пищевых запасов в своих подвалах. Мы вывозили на перекрёстки улиц котлы и термоса с перловой и чечевичной кашей. За благотворительным обедом выстраивались очереди длинные. Старшина сыпал прибаутками:

Ешьте советскую кашу да почитайте власть нашу.

Гитлер капут, будет коммунизм тут.



Народ хохотал.

Древний город от советских снарядов пострадал мало, разрушенные дома – результат бомбёжки с американских и английских самолётов. Это давало повод населению думать о нас лучше, чем о наших союзниках. Хотя политическая установка была у нас хвалить союзников и показывать людям, что дружба у советского союза с американцами и англичанами нерушима на вечные времена, так говорил замполит.

Но как раз в Бреслау и произошло событие, чуть ли не приведшее к разрыву важнейших союзнических договоров.

Расскажу. Батальон оперативно рассосредоточился по городу, организовав стационарные патрульно-постовые пункты. Один из таких пунктов, в котором я оказался, был размещён на окраине города, в большом саду, принадлежавшем какому-то сбежавшему буржую. Старшина облюбовал сарай с широкими стеллажами, служащими для сушки фруктов.

– Занимайте, – объявил он. – Это будет вместо казармы. Крыша не дырявая, любо-дорого.

Старшина выдал матрасовки, мы набили их собранной под деревьями сухой прошлогодней листвой. Оказалось, стеллажи очень подходят, чтобы на них растянуться в отведённый для отдыха час.

В полкилометре проходила автодорожная магистраль на Будапешт и Вену. А между магистралью и садом находился под землёй особый стратегический объект, снаружи совсем неприметный, где всю войну пленные изготавливали для немецкой армии военное снаряжение.

Гитлеровцы, отступая, успели заминировать объект, но не успели взорвать его.

Произвести теракт они, конечно, попытаются, тем более, что сделать это есть кому – в городе укрывались эсэсовцы, переоделись и ходят.

В нашу задачу как раз входило патрулирование территории, загороженной в несколько рядов шипастой проволокой.

Нам удалось важный объект уберечь. Был даже слух, что в каком-то объединённом союзническом штабе готовятся за это нам награды, очень важное, говорят, мы исполнили такое дело.

Однако наград мы к великой горечи своей не получили. А вот вместо наград едва-едва не попали под расформирование. То есть, весь наш батальон чуть не расформировали. Позор! И было ведь за что.

Причина-то следующая.

Несколько предприимчивых, не лишённых отваги бойцов сговорились и во время ночных патрулирований на автодорожной магистрали останавливали машины и, произведя досмотр, отнимали приглянувшиеся им вещи.

А это шмустьё затем сбывали в лавках местным торговцам. И начали заниматься они таким делом, оказалось, не только в Бреслау, а и много раньше.

Обобранные жертвы не обращались с жалобами к советскому

командованию, считали это в порядке вещей – ведь мы же завоеватели, а кто на завоевателей где и когда в истории осмеливался жаловаться? Закон всякой войны: грабь!

И так бы никто не узнал, с каким рвением ребята-бойцы несут патрульную службу, обеспечивая порядок на завоёванной территории, дослужились бы до положенной демобилизации и с заслуженными медалями вернулись бы в Советский Союз. Вернулись бы домой в меру обогащёнными, и все бы соседи видели, что они не дураки, умеют воевать и то, что надо, умеют с войны взять.

Кто же не мечтает вернуться домой с достатком, тем более ребята, прошедшие должную, жизненную школу в колониях и в лагерях. Нет академий лучше и выше, чем сообщество зэков.

Подвёл случай. Угораздило же в эту ночь проезжать по магистрали крупным дипломатам. Не то английским, не то французским. Вот уж подонки, сказали про них ребята. И ехали подонки на своём лимузине из Будапешта, где вели беседу с председателем союзно-контрольной комиссии Климентием Ефремовичем Ворошиловым. При беседе, конечно, выпили славно – им-то всё дозволено – ехали, понятно, навеселе.

Можно допустить, о чём они разговаривали. Может, о нас, русских солдатах, говорили. Не было пока причины у них про нас худо говорить, я так думаю. Главная тягловая сила войны – что же ещё. Могли они вести беседу в следующем смысле.

– Однако, русские эти нормальные, – мог сказать один.

– Простодушные и не скряги, – мог добавить другой, переживая в себе впечатление от щедрого ужина в компании маршала.

Впереди на дороге возникли человеческие силуэты, освещённые фарами – русский патруль. Ага, это очень хорошо, подумали дипломаты, что патруль не спит, стережёт покой освобождённого города.

Дипломаты не выразили возражения, когда им было велено выйти из машины. Нормально.

– Добро, добро, – поощряли они такие действия русских солдат и показывая руки, чувствуя себя надёжно защищёнными. Но дальнейшее обхождение не поглянулось. Русские экспроприировали не только то, что лежало на видном месте в салоне машины, но и то, что в карманах высоких персон – часы на руках первым делом. Это, наверное, было уж слишком. У персон случилась икотка. Они ведь совсем не полагали себя завоёван-ными.

Таким образом обобранные дипломаты-союзнички уже через час, а может и менее часа, совершив окольный круг, были снова в воротах резиденции Климента Ефремовича, который приняв расслабляющую ванну с морской солью, уже успел улечься в постель. Поднял его адъютант.

– Чего там? – спросил недовольно герой гражданской войны.

– Да это опять, какие были. Требуют немедленной аудиенции, – доложил адъютант в чине генерал-полковника.

– А что они хотят? Какой вопрос у них? – бурчал старый маршал, легенда прошлого.

– Не говорят, только икают, – отвечал генерал. – Сильно расстроены, блаженные, – при таких словах в глазах генерала прыгали почему-то весёлые искорки, будто бесенята.

Ворошилов выслушал обиженных страдальцев, которые дерзко пугали дипломатическим разрывом. Сам натурально взволновался, взбагровел, налился гневом. По всем частям и подразделениям в Бреслау полетел приказ: изловить мародёров! В сей же час изловить!

Приказ этот долетел и до нашего батальона, до нашей роты.

И кинулись мы по всем сторонам в ночную, непроглядную темень.

А, оказывается, и кидаться нашей роте, тем более взводу нашему, никуда не надо было. В этом мы скоро убедились, ещё ночь не кончилась, а мы уже убедились. Овчарка, взявшая на дороге след, привела в сад, как раз в наше расположение...

В последующие дни, то есть после того, как прибежала по следу горячему овчарка, я видел мародёров – а это были ефрейтор Фёдоров и рядовые стрелки второго отделения Заточкин и Пеньков – видел во дворе каменного дома, где располагался батальонный штаб. Двор просторный, метров под сто в длину, охваченный с трёх сторон высоким глухим забором, а с четвёртой стороны – сомкнутыми пустыми домами, в которых до нас была техническая школа.

Фёдорова и его подельников держали в левом углу двора, в подвале.

И охранялись они не нашими бойцами, а из другой части. Подвал выходил наружу двумя или тремя узкими зарешёченными окнами, вровень с землёй. Часовые двигались вдоль окон. По несколько раз в день водили они арестованных через весь двор, в противоположный угол, где был общий, на десяток очков, дощатый сортир. В ботинках на босу ногу, без шнурков, в распущенных гимнастёрках, без ремней, арестованные не гляделись угнетённо. Скажу, что поведение их было совсем не соответствующим их печальному положению: они приплясывали, присвистывали, веселясь, как будто были в многократно лучшем положении, чем мы все, за ними наблюдающие. Ну да, они теперь могут вдоволь выспаться, и никто им среди ночи в голову не выстрелит, их охраняют и берегут, а мы-то день и ночь в своей патрульной службе, и без конца рискуем жизнью. Вот как!

Эти бойкие ребята, между прочим, были в роте совсем не на худшем счету, даже наоборот. Около месяца назад, когда подразделение было брошено в глубину Альп выполнять экстренную оперативную задачу, они, посланные в разведку, смогли взять и разоружить группу немцев-подрывников, тем самым предотвратили разрушение высокогорной метеорологической лаборатории, которая имеет большое стратегическое значение для всего западного региона. По сводкам, выдаваемым этой лабораторией, поднимаются с аэродромов

самолёты Франции, Италии, Португалии... Рота шла к двухэтажному, из красного кирпича, домику, расположенному на вершине хребта, между скалами, по неширокой петляющей тропе, прячущейся в зелёных плетях дикого винограда. Оба этажа в домике оказались безлюдными, однако, на плите, в бачках стояла тёплая вода, на столе лежал раскрытый журнал, а на полу, у порога, рассыпаны сигареты – всё это свидетельствовало, что сотрудники только что были здесь и вот куда-то исчезли. Основное оборудование лаборатории стояло несколько выше, метрах в двухстах, на широкой скале, которую закрывал от взгляда снизу не то туман утренний, не то наплывшее по небу облако. Ротный быстро сориентировался, была вызвана группа бойцов с двух направлений. Полчаса спустя бойцы вернулись и привели двух рослых гитлеровцев в чёрной форме СС, далеко немолодых, которые были выбриты и свежи, сохраняли на лицах внешнее спокойствие и уверенность. При допросе гитлеровцы не запирались, нагло сказали, что если бы им не помешали, то не только лаборатория вместе с оборудованием, а и скалы взлетели бы в небо, настолько мощные фугасы они сюда доставили вертолётном. Следовательно, и вся рота была бы здесь похоронена на веки вечные, в поднебесной высоте, откуда в ясный день открыт обозрению хребет на французской границе с богатым курортом Куршавель.

Тогда командир роты оглядел далёкие окрестности в бинокль, как бы хотел убедиться, с чем, с каким миром тут могли сродниться наши отлетевшие души – а мир природы обступал удивительно красив, зелёно-голубой, с оранжевыми солнечными вертикальными полосами – построил роту и объявил благодарность бойцам Фёдорову, Заточкину и Пенькову, изловчившимся взять врага не только без потерь в живой силе, а и без выстрела.

– Служим Советскому Союзу! – напрягши вскинутые подбородки, на пределе голоса отвечали Фёдоров, Заточкин и Пеньков, поджимая к себе оружие. Наверняка они понимали, им кроме устной благодарности светилась и ещё какая-то значительная награда за оперативность, смекалку и находчивость в исполнении воинского долга.

Вот такие они ребята.

Кто бы мог подумать, что обернётся всё совсем иначе. Судьба, ох. А потом... Потом Фёдорова, Пенькова и Заточкина после завершения следствия возили в дивизию на суд, всем за групповое мародёрство была вынесена «вышка», сюда же, в подвал, их вернули после суда для ожидания исполнения приговора.

Исполнение несколько оттягивалось не то по причине посланной кассационной жалобы и просьбы о помиловании, посланной ими в Москву Михаилу Ивановичу Калинин, не то у соответствующего начальства головы были заняты другими вопросами, и оно не спешило.

Особо удивляло и поражало, что поведение Фёдорова, Пенькова и Заточкина не изменилось и после суда, то есть, после того, как был вынесен

им такой приговор. Они также были веселы, дурачились, приплясывали, идя под автоматами через двор, были пьяны и беззаботны, должно, не верили, что их могут расстрелять, вот так отнять у них небо, всю жизнь, что Михаил Иванович Калинин не пожалеет их и не помилует.

В роте говорили, что на улицах Бреслау не раз бойцы, те, что из бывших колонистов, видели рыжего Чурю, когда-то, в 42-м, дерзко, под пулями конвоя, из-под овчарок, сбежавшего из нашей Томской колонии, о нём я написал в предыдущих главах данной повести «Мальчишка с большим сердцем».

Он, Чуря, будто бы бахвалился, что промышляет тут, в заграничах, тем же, чем промышлял на Родине. Есть версия, что это он, обладая могучими воровскими талантами, спровоцировал Фёдорова на ночные поборы. Сам, ловок и удачлив, сумел отмазаться, а Фёдоров и его дружки вот залетели, и очень, очень вот крепко залетели. Ребята в роте жалеют их, а за Чурю как-то радуются, да и не как-то, а откровенно радуются. Потому радуются, что вот он, наш колонист, не сменился ни духом, ни телом, наводит тут среди разных чужестранцев, среди местных лохов свои порядки, свои понятия, свою малину, не тушуетя земля, даёт шороху. Как же не теплеть сердцу! Патриотические чувства возбуждаются в груди сами собой натурально.

Просьба о помиловании ходила месяц, а может и дольше. Капитулировавшая Германия налаживала свою жизнь, привыкая к новым условиям.

В Бреслау в очищенных от мин и не взорванных бомб и снарядов скверах гулял цивилизный народ, девчата завлекали обещанием любви. Старшина также с прибаутками раздавал на улицах народу благотворительную перловую и чечевичную кашу. Все мы в части уже стали забывать, что по двору ходят смертники, а не обычные гауптвахтники. И сами смертники, должно, начали забывать, что они таковые. Кто-то им приносил вино, они с утра опохмелялись, потом добавляли, и так каждый день... Гуляй, снова живём!

Федоров имел свой непонятный, но определенный взгляд на женский вопрос, как будто эка какие школы и академии прошел парень. Никогда женщина не знает, говорил он, как ей надо поступить в разных ситуациях, и всегда подсознательно ждёт мужского решения. Да, да, мужского решения она, баба, ждёт, ибо только поступок в рамках подчинённости мужчине может успокоить мятущуюся сущность её. Но из этого факта вовсе не выходит тот результат, говорит Фёдоров, что баба генетически предрасположена к согласию с мужчиной, наоборот: всё в ней от пяток до макушки настроено на то, чтобы постоянно диссонировать по отношению ко всем мужчинам вместе взятым, и по отношению к отдельно взятому. Оттого от мужчины требуется сильная воля, достаточная для того, чтобы приводить женщину в колею, в которой она смиряется, однако смиряется очень на короткий срок, такая вот, говорил Фёдоров, выпала нам, мужикам, канитель.

Ну, прямо философ. Откуда у парня такие учёные мудрствования?

Вообще-то Фёдоров не глуп, может мозгами шевелить, но с закидоном.

Сменил ли он теперь свою философию или наоборот – укрепился в ней, кто же знает. Ходит по двору со своей компанией, приплясывает.

Весть о том, что добрейший Михаил Иванович Калинин не помиловал – а он и не мог помиловать, потому что дело находилось под контролем каких-то межгосударственных организаций и частных юристов – разнеслась по взводам и ротам тотчас. И когда к подвалу подъехала, развернулась, подпятилась высокая чёрная будка, а подъехала она рано утром, едва развиднелось во дворе, то перемена в лицах всех троих приговорённых была чудовищная, их нельзя было узнать, это были уже как бы не они, то есть, не Фёдоров, не Пеньков, не Заточкин, а вместо них какие-то старички с седыми, сплошь белыми головами. Вчера-то были молодыми, враз состарились, утерев надежду на жизнь. На крыльце, закрыв лицо ладонями и вздрагивая опущенными плечами, плакала телефонистка Люба, в которую весь фактический личный состав нашего взвода да и всей роты был тайно и безнадежно влюблён за её ласковость. Наш взвод в эту ночь как раз исполнял караульную службу у штаба, мы все могли видеть, всю картину въяве.

Всем сделалось до дрожи в спине понятно, куда и зачем ранним утром повезли мужиков. Чёрная будка выехала на дорогу, ведущую за город в сторону старых брошенных шахт. Впереди ехал зелёный «виллис», а позади «студебеккер» с солдатами.

Как-то опустело в расположении батальона без этих бесшабашных личностей. Думаю, не было ни одного из бойцов, кто бы откровенно осуждал их, а не жалел, не сочувствовал и не клял тех подонков-дипломатов. Когда однокашники, сослуживцы гибнут от пули врага – это одно дело, а когда от своей пули – совсем другое, и неважно, какое преступление они совершили, да, неважно, не берётся в расчёт.

Сердце ноет и никогда уж не освободится от горькой памяти о Гене Солощеве, показательно расстрелянном нашими полковниками в Будапеште, в жилом дворе, подобно курёнку.

\* \* \*

История с Фёдоровым, однако, не завершилась. Спустя несколько лет, уже в пятидесятые годы, в Новосибирске, комиссованный из армии по нервной болезни, ехал я в трамвае, и вдруг на остановке Молокова, где стоит старая белая церковка, входят они, Фёдоров, Пеньков и Заточкин. Лица в жёлтых пятнах, в густых морщинах. Приглядываюсь внимательнее, с удивлением и оторопью: точно – они. Да ведь они! Без сомнения.

Фёдоров уловил мой взгляд на себе, стушевался. С ним была женщина, державшая его бережно за локоть. Женщина заметила перемену в спутнике, поглядела в мою сторону почему-то с явной неприязнью, вся напряглась. Это была наша бывшая телефонистка Люба. Через остановку они сошли. Но

ведь в 45-м, летом, армейская газета сообщала, что «суровый, справедливый приговор мародёрам приведён в исполнение»... Мы тогда согласны были лишь наполовину: суровый приговор – да, а вот насчёт справедливости все солдаты роты были решительно против.

Оказывается, в те годы был порядок, по «вышке» могли не расстрелять, а отправить на урановые рудники, числящиеся в системе промышленных объектов под номерными знаками. И здесь, значит, случилось так. Но совсем неординарно случилось.

Ранним тем утром того славного 45-го из пункта А в пункт Б, точнее из венгерского городка Сигоши в чешский городок Славеницы, ехала кавалькада автомобилей, в составе её был броневилок, а в броневилке том был сам глава НКВД СССР. Наводил он ревизию в вверенных ему чекистских частях и заодно охотился на фазанов по берегам верхнего Дуная. Благодатные места, замечательные охоты. Над горизонтом полыхала заря, роняя свои яркие живые краски на деревья и кустарники, отчего вся растительность казалась в мягком пламени. Шатёр неба высок, необъятен, чист, а воздух свеж, настоен на плодах садов, целебен, как бокал свежего вина из мадьярского погреба.

Грозный нарком раскрепостился в мускулатуре, созерцая мирную даль, приходили в голову сами собой лёгкие, развлекательные, имел же он право думать не только о предателях и разных скрывающихся врагах государства, шпионах, а и о радостях, например, вот о фазаньей охоте. Да мало ли на свете светлых моментов, о которых можно себе позволить думать!

«А не остановиться ли нам возле того леска, у холмика, да завтрак учинить добытым фазанчиком», – сказал он неотлучно при нем находящемуся генералу по фамилии Сидоров. Нарком имел странность иногда подбирать себе в обслугу генералов и прочих чиновников с простыми и ясными фамилиями: Иванов, Петров, Сидоров, Фёдоров...

И тут взгляд наркома вдруг омрачился, на стеклах пенсне отразилось если не смятение, то что-то похожее на это недостойное для его положения чувство.

В сторону старых отработанных угольных шахт, свернув с дороги, увидел он, катила чёрная будка, сопровождаемая грузовиком с солдатами, а впереди катил щеголеватый юркий «виллис». Очень дурная примета – нарком был суеверным человеком, как и всякий большой начальник. Повстречать на пути этакую оказию, то есть чёрную будку, всё равно, что столкнуться с покойником. Зачем, с какой задачей, выезжает за городскую черту, в безлюдье, такая чёрная будка, над которой, как устрашающий символ, с угла прикрепленный, реет вороньим крылом треугольный флажок – нарком знал.

Ничего не оставалось ему, кроме как остановить зловещую будку, уже выезжающую за поворот у основания холма. Остановить. И своей властью даровать помилование несчастным, случайно встреченным. Либо не вмешиваться, оставить так, как есть? Но ведь тогда худая примета сбудется

не сегодня, так завтра или после – всё равно.

А между тем, едва отгорела над Дунаем утренняя заря, день начал хмуриться, портиться, откуда-то набежали копны облаков...

В общем, наши трагические герои – Фёдоров, Пеньков и Заточкин таким образом оказались переправленными в своё Отечество, на Родину, в сибирские просторы, где им и было назначено кайлить урановую руду в глубоком подземелье, что они и делали, надо полагать, добросовестно несколько лет к ряду.

Самому наркомому, которому наши герои обязаны своей жизнью, оставалось после того события ещё менее десяти лет жизни – он будет, как мы теперь знаем, убит в Кремле по заговору, хотя собрался жить на этом свете сто лет в кавказских традициях. Вот уж смеялся доблестный Лаврентий Павлович над спесивыми и кичливыми дипломатами, которых ловко обобрали на ночной дороге наши сообразительные ребята (из моего взвода), заодно и над престарелым маршалом Климентием смеялся. Вот уж, поди, дескать, струсил герой гражданской, боясь, что Иосиф начистит ему холку за тех вонючих интеллигентов иностранных.

Спустя время, вспоминая, теперь я вот думаю. Тогдашний наш нарком, конечно, был реалистом, трезвым во всяких суждениях, тем более, был он далёк от всяких мистик, но не настолько же далёк, чтобы исключить роковые приметы народа, ведь умён был Пушкин, а вот и он вернулся с дороги 14 декабря 1825 года, когда увидел, что паршивый зайчишка перебежал ему путь. Вернулся и спас себя, знаем. Были и другие подобные случаи. Весьма памятные в истории случаи: вожди крупных государств имели фиаско из-за пренебрежения народными приметами. Ну да, ну да, не прими он тогда, летом в 45-м, оперативные меры, кто знает, как бы обернулось: дала ли бы ему судьба дожить до 50-х или раньше бы от него избавился Кремль, как было с другими. Вот такая запутанная история, повязавшая как бы в один узел бойцов моего взвода – я имею ввиду Фёдорова, Пенькова и Заточкина и к ним негаданно пристегнувшегося Лаврентия Павловича.

В рассказанной истории нет ничего примечательного, что говорило бы о нравственной крепости нашей армии, находящейся в западных странах, а как раз наоборот говорит. Однако факт есть факт, и уходить от него в данных записках нет права у автора.

Впрочем, я сам не знаю, зачем я про всё это рассказал, ведь не затем же, чтобы обозначить и выставить напоказ то, что не красит наши славные армейские ряды, призванные нести миру порядок и нравственные устои. Скорее всего рассказ мой произошёл спонтанно из-за одного единственного эпизода, вернее, из-за одной единственной, очень яркой картинки, никак не выветривающейся из памяти: длинный каменный глухой двор в глубине чужой западной страны, выстеленный брусчаткой, залитый высоким солнцем, лучи которого пахнут созревшими и распаренными на ветках черешнями и вишнями, по этому двору по десять раз в день из конца в конец по естественной нужде водят охранники с автоматами наготовленными



группу приговорённых к высшей мере молодых людей, и эти приговорённые безумно веселы, артистично приплясывают и присвистывают, на их лицах никакого угнетения и понурости. Что это было? Непонимание судьбы и ситуации, или наоборот – понимание, результат стихийного философского озарения? В том смысле озарения, что если уж жизнь твоя кончена, то не завершать же её в унынии, принуждая всех, на тебя глядящих, к чувству жалости, а может и брезгливости. То, что потом головы этих соколов за одну ночь из русских превратятся в снежно-белые, это я не беру в расчёт, главное, что они до этого целый месяц после суда сохраняли в себе несломленный жизненный дух, тот самый дух, который покоряет женские сердца, чему подтверждением стали наши батальонные милые телефонистки, красавица Люба в том числе.

Я звал Фёдорова пацаном, жил он в дощатом, насыпном, ветхом домике с одним оконцем в палисадник по улице Линеинной, ходил в ту же новую кирпичную школу на Кропоткина в Новосибирске, куда ходил я. Пацаны с Линеинной и с Кропоткина не дружили, дрались между собой, отстаивая авторитет своих улиц, но с начала войны все мы оказались на одном заводе, где уже не было причин для раздоров. В Томской же колонии Фёдоров оказался несколько раньше меня, я не знаю за что. Знаю лишь, что отец его, заводской мастер, не вернулся из окопов под Москвой, погибли в боях и два старших его брата.

## ГИБЕЛЬ СЕРЖАНТА

Вот вам и ещё история, происшедшая в 45-м, вскоре после Победы. Нашему боевому стрелковому отделению было приказано пройти по деревням, хуторам юго-восточной Германии и экспроприировать у сытых бауэров крупный рогатый скот для пищевого довольствия батальона. Осточертела американская консервированная еда с искусственным белком, такие разговоры ходили, что союзнички не лохи, потчуют советскую армию не тем, что сами едят, даже чечевица и та, говорили, ненастоящая, оттого-то так пучило с неё наши солдатские животы. Это уж хамство натуральное. Кто мы, в конце-то концов, не побеждённые же, чтобы питаться дерьмом залежалым. Отправиться за скотом, то есть возглавить группу бойцов, было приказано младшему сержанту Масенькину.

– Есть! – отвечал он, явно довольный такой неординарной задачей.

Командир отделения младший сержант Масенькин, человек щуплого телосложения, лет тридцати, белоглазый, страдал явным комплексом собственной неполноценности, постоянно съедаемый страхом, что ему кто-то может не подчиниться, а потому подозрительный и жестокий в обращении, голова его была постоянно занята тем, как бы что-то такое найти, чем можно было бы подчинённого рядового унижить. А вообще нормальный мужик, умеющий тихо выпить, скрытно от начальства и ещё более тихо поприжать подвернувшуюся одну из русско-язычных девок,

недостатка в которых не было. Чем дальше к Западу, тем больше было девчонок, завезённых сюда с оккупированных территорий Советского Союза.

Вышли мы из расположения, понятно, утром, сразу после завтрака в столовой. Путь проделали немалый. На разном попутном транспорте, конечно. Достигли деревни Баненау, что на берегу какой-то узенькой мутной речушки, поделенной на пруды с невысокими земляными плотинками, заросшими кустарником.

Странные у немцев деревни, совсем не похожие на наши. Нет ни улиц с двумя рядами домов, ни вообще никаких рядов, и даже двух жилых домов близко нет. А есть один большой дом, обычно на возвышении, окружённый хозяйственными постройками, а во все стороны открытое поле. Следующий дом, относящийся к этой деревне, может быть только за этим полем, в полкилометре или немного ближе или дальше, в зависимости от рельефа, в любой стороне, это и есть ближний сосед. Может быть, и третья усадьба на таком же отдалении, и четвёртая, пятая и также все они отмежёваны друг от друга полями, пашнями, а не узкими огородами и плетнями как у нас в Сибири. С возвышенного места видны ближе к черте горизонта ещё дома в окрестностях, но это уже другие деревни. Такая вот система расположения деревень и если бы не было столбиков с табличками, то никак не догадался бы, где кончается одна административная единица, то есть деревня, и где начинается другая. По-нашему это хутора.

Разбив бойцов на пары, Масенькин разослал нас по окрестным деревням, чтобы мы известили бауэров о распоряжении советского оккупационного командования – младший сержант это подчёркивал: оккупационного командования – выделить от каждой усадьбы по одной взрослой крупнорогатой скотине.

Сам Масенькин остался в доме у пруда, чтобы ловить карпов и наконец-то насладиться на хозяйской перине отдыхом без начальственного догляда.

Я был в паре с рядовым Ванюшиным, флегматичным и грузным, у него старые, обтрёпанные обмотки на ногах постоянно разматывались и он, незлобиво матерясь, садился на землю, снова заматывал, при этом кряхтел в напряжении. В Томской колонии Ванюшин был за «испуг». Он так и говорил: за испуг. Не смог от волка отбить колхозных телят, которых сторожил. Вину свою он перед прокурором не отрицал, откровенно признался: надо бы вилы, дескать, схватить да пырнуть хищника, а я испугался. Прокурор пожалел парня и тоже откровенно сказал: «Меньше двух лет тебе, малец, не могу определить, ну, не могу, понимаешь, закон такой». Хотя мог бы и до пяти определить. В колонии Ванюшин, не таясь, крестил себя щепотью перед сном. Оказавшись в армии, он перед каждым выездом на боевую операцию просил Бога уберечь его. Теперь же, когда войне конец, казалось бы, все страхи позади, уже не надо ничего бояться, но, странно, эти самые страхи возросли многократно, потому

что кругом остались настроенные на убийство мины. Желание уберечься обострилось у каждого до боли в сердце, все думают только об этом: война, слава Богу, кончилась, будет нелепо, если душу отдашь на какой-нибудь случайности.

За два дня мы с Ванюшиным обошли сколько-то деревень, нас в воротах встречали, сказать откровенно, без восторгов. Соблюдая мирный характер своего действия, мы, не входя в ограду, говорили хозяину, чтобы он в течение завтрашнего дня пригнал скотину в деревню Баненау ко двору старосты, то есть сельского бургомистра.

Восхитило, что ни один бауэр не ослушался, все пригнали. И уже через три дня в распоряжении младшего сержанта Масенькина было целое стадо скота. Может, с этого момента ко мне станут приходить мысли о том, что крестьянство не должно приносить доход. Вернее, государство не должно требовать от своих крестьян дохода, смысл и назначение крестьянства в другом – выше, бесконечно выше всякой экономической выгоды. Назначение его в том, чтобы при всяких политических и социальных потрясениях самосохраниться, имея ввиду, что крестьянство само по себе есть образ наиболее оптимальный жизни человеческой на доставшейся людям планете и измерять его экономическими мерками нелепо и преступно.

Масенькин держался если не генералом, то полковником – точно. Он выходил из отведённого ему для постоя флигеля, выходил без фуражки, без кителя, в белой натальной рубахе, на которой держались пушинки от только что оставленной перины, стоял на крыльце, дымил немецкой сигаретой и глядел, как прибывает количество мычащей живности. На боку у него был подоткнут за ремень пистолет системы «маузер», символизирующий жёсткую и неограниченную власть. Как же.

Власть в данный момент, при таком обстоятельстве у него действительно была неограниченной. Нет, не над скромными послушными бауэрами, молча подходившими, чтобы пригнувшись, кивком головы выразить если не почтение, то свою врожденную готовность подчиняться режиму и начальству, а над нами власть. При выполнении боевой оперативной задачи – а задача у нас была именно таковой: боевая и оперативная – он имел право любого из нас пристрелить – так он говорил, грозясь, высвобождая из-под ремня пистолет. Да, боевой и оперативной была задача, мы это понимали.

Стадо пришлось гнать по незнакомой местности, не столько по дорогам, сколько по бездорожью. Младший сержант Масенькин не глуп, раздобыл себе пегого меринка, довольно резвого, ехал за стадом на двухколёсной тележке, подёргивая вожжами, на ходу отдавая бойцам-скотогонщикам соответствующие команды и приказы. А так как наш командир был по натуре запасливым, то в ногах у него были ёмкости, не пустые, конечно, раздобытые опять у тех же бауэров, к этим ёмкостям Масенькин время от времени прикладывался и оттого сильно потел на солнце. Первые километры рядом с ним в тележке сидела попутчица, молодая украинка,

подобранная на перекрёстке дорог. Смышленная деваха сообразила, что с нами она будет добираться до нужного ей города целый век, к тому же Масенькин был теперь при полной форме и было видно, что он далеко не полковник, пересела в обгоняемый нас «виллис», в котором ехали весёлые офицеры, завлѣкшие её к себе. Младший сержант несколько расстроился, даже обиду затаил, но скоро пришѣл в ровное расположение духа, так как потеря невеликая, поправимая, впереди много дорожных перекрёстков, а значит, попутниц тоже много, попадутся еще смазливее.

Рогатое поголовье, хотя и не обученное ходить в стаде, – в Германии содержание стойловое – постепенно начинало соображать, что если станет забегать вперѣд, то получит бодагом по мордасам, а если в сторону, то по бокам. Так происходило обучение дисциплине и советско-русскому порядку.

Через какое-то время на пути начались сцены, к которым ни мы, рядовые, ни младший сержант Масенькин не были готовы.

Но сперва о неожиданной, совсем, казалось бы, невероятной встрече с человеком, который находился в розыске.

В один из вечеров, когда уже совсем стемнелось, и мы сидели возле разведѣнного костра, вокруг отдыхал на прогретой за день земле усталый наш скот, обозначаясь бесформенными силуэтами, в этот-то час к нам на поляну от недалёкой дороги свернули жѣлтые фары автомобиля. Из машины вышел человек, он остановился в нескольких шагах от костра и некоторое время наблюдал в безмолвии. Свет пламени освещал его лишь по грудь, а голова оставалась во мраке. Потом человек спросил:

– А на мою долю чифирчик найдѣтся? Землячки! – и громко расхохотался. Это был Чуря, у него такой смех: мягкий, чувственный и одновременно жѣсткий, в колонии этот мстительный смех испытали на себе многие. Засмеется, значит, жди от него подлянку.

Младший сержант сделал движение рукой к оружию. Чуря остановил его тем же насмешливым уверенным голосом:

– Чудить не надо. Не терплю чудиков, – и присел с нами.

На пальцах Чури перстни крупные, на одной руке и на другой, и часы жѣлтого металла, и цепочка на шее поблескивала жѣлтая, и распяты на цепочке жѣлтое, вываливающееся из распахнутой на груди рубахи. Этого всего нельзя было не заметить.

– А мне говорили, тут твои земляки шатаются. Экспроприацией занимаются, хвосты быкам крутят, ну, думаю, найду. Вот вы, оказывается, братишки, где... Как живѣтся-служится?

– Нормально, вот... – отвечали мы.

– А домой когда? – после некоторого молчания спросил он.

– Да вот, как служба, – отвечали мы в голос.

После опять молчание, он говорил:

– Ну, теперь уж вам всё равно недолго. Хоть так, хоть этак, а уж недолго.

– Может и недолго, – отвечал Ванюшин. – Хорошо, если бы так. Если бы недолго. Дома, на Чулыме-то...

– Да, – сказал Чуря. – А мне вот гулять здесь. Так вот... На Родину-то заказано. Эх, братухи, заказано...

Этот парень был явно наполнен до краёв горячеей тоской. Может, встреча с нами и ввергла его в такое настроение, а может, это чувство уж постоянно с ним гуляет по чужим этим краям, полным вина, фруктов и разного шмотья.

Да, чувствовалось, подошёл он, неприкаянный, к нам от тоски, снедающей его бесшабашную душу. Душа жаждала общения. Однако разговора не получалось. Он молчал, и мы молчали. Трещал в костре подкидываемый хворост, стонали в темноте животные.

Ванюшин вдруг начал рассказывать о том, какая летом на берегах Чулыма благодать, эх, благодать!

– Пучки нарастут, шкерды, саранки в березняках. Наберёшь, бывало, сядешь с пацанами на поляну, начистишь и хрумкаешь, хрумкаешь. Во, вкуснятина.

Я тоже слабел от таких сладких воспоминаний. Кто же может забыть ароматно-сахарный вкус мясистого, зеленовато-прозрачного стебля пучки и горьковатый вкус шкерды! Как-то у Ванюшина случился откровенный разговор с местным бауэром, тот говорил, что худшей жизни, чем в Сибири, не бывает, что в Сибири ничто не растёт, Ванюшин же сердился и доказывал, что на Чулыме жить лучше, чем у них тут, что вместо фруктов ягоды разные растут и грибов побольше, чем по берегам Дуная – белянки, рыжики, сыроежки, грузди...

Мы сидели под могучим, распухшим от парного воздуха, деревом, по-русски называемым «шелковица», над нашими головами высоко в небесную темноту поднята широкая крона, от слабого дыхания ветра падали на землю и на наши головы мягкие, истекающие медовым соком, плодики, можно подставить ладонь и ловить эти плодики, набивать ими рот. Ванюшин не ловил. Потому что, говорит он, в сравнении со шкердами, с пучками, какие дома на Чулыме, разве это деликатес! Чувствую, всем бойцам близка логика Ванюшина. Вне сомнения, и медунки, конечно, слаще винограда, и шкерды достойнее абрикоса, который уже чуть ли не с мая месяца, лопаясь и распариваясь на солнце, валится на землю под ноги проходим и под колёса «виллисов», наполняя воздух жирными ароматами. Это много, много позднее, и Ванюшин, и я, поймём свою природно-географическую обездоленность. Поймём, что не может быть наша Сибирь привлекательнее для жизни не только человеку, а и всякому зверю, птицам, и всякой растительности. Тут вот в любой лесной полоске рядом с дорогой уже дикого кабана встретишь, и не одного, а табунок, матку с поросятами, или фазаны начнут вылетать из травы. У нас же, в Сибири, полдня по тайге исходишь, сосны мачтовые кронами в небо втыкаются, а ни одной зверушки, ни одного рябчика не выпорхнет, а медведей, о которых легенды на Западе сочиняются, что они, дескать, по

улицам городским табунами в Сибири ходят, если приходится кому-то видеть, то лишь одному человеку из тысячи – настолько они теперь редки в наших-то краях, медведи-то.

Уехал Чуря, мы проследили, как фары его автомобиля быстро загасают вдали. Оставил этот парень, родом из сибирского шахтёрского городка, в наших сердцах почему-то чувство вины. Да, да, вины. У всех. Я это видел по насупленным, каким-то смущённым лицам. Младший сержант курил и зачем-то перезаряжал свой трофейный пистолет.

В батальоне было известно, что Чуря ведёт воровской образ жизни, тот самый образ, какой он вёл на Родине до Томской колонии, откуда дерзко сбежал под пулями конвоиров три года назад, в оперативном штабе копились на него сведения от местных органов. Нам бы следовало его арестовать, мы же чекисты, но мы этого не сделали.

Через много лет, вспоминая эту последнюю встречу с знаменитым неуловимым Чурей, я буду думать о том, что он, Чуря (настоящая его фамилия Алексеев, Петя Алексеев) сыграл заметную историческую роль первопроходца русского успешного воровского бомонда на территории западных государств. Первопроходец. Те, которые пойдут следом, это будут уже не те, совсем не те, не того духа, не той отваги. В Чуре был врождённый жиган, плюс незаурядный ум. Думаю, Запад не столько потерял от встречи с ним, сколько выиграл. Будьте же благодарны господа капиталисты, загнившие в своих шмуцьёвых сверхдостатках!

Расскажу дальше о приключениях в пути. Вот из дубового леса появился майор интендантской службы с группой автоматчиков. Они, примеряясь взглядом, вошли в середину стада и, размахивая оружием как палками, принялись отеснять животных к оврагу. На мои возмущённые крики ни майор, ни автоматчики никак не среагировали. Подоспел задержавшийся позади на своей коляске, уже с новой попутчицей, кудрявой такой, Масенькин, он стал показывать майору документы, выданные ему в батальонном штабе. Майор не стал и глядеть в бумаги, он строго воззрился со своего высокого солидного роста на невзрачного Масенькина и скомандовал насмешливо: «Кру-угом!»

– У нас завтра годовщина части, – пояснил мне один из мародёрствующих автоматчиков. – Котлетки потребуются в столовке. Котлеток охота. – И укоризненно добавил: – Делиться надо. Жмот. А ты орёшь, тыловая крыса.

Нас, краснопогонников, я уже упоминал, во всех войсках презируют, тыловыми крысами обзывают.

Так наш добытый трофей убавился сразу на полдесятка скотин, ушедших напрямиком на кухню.

А дальше стадо будет убывать чуть ли не на каждом переходе: то от разбитых на жёсткой дороге копыт, то от минных взрывов в придорожном перелеске, то от всяких набегов со стороны летних лагерей воинских частей.

В армии я обнаружил, что меня часто обвиняют в каких-то поступках, которых я не делал, а делали другие. А потом я понял, почему выходит так: я, оказывается, начинаю вдруг усиленно, независимо от своей воли, думать про эти самые чужие поступки, натурально смущаюсь, явно краснею и на меня тут же показывают: вот он, вот виновный! Очень портит кровь мне такая вот слабость натуры, должно быть врождённая.

Дальше встретились с танкистами. Точнее – с танками. Жаркий день завершался, близились сумерки, мы, изнеможенные, подбирали придорожный луг, где бы можно было остановиться на ночь, дав возможность скоту попасться, а самим себе вскипятить на костре чаю.

Каждый раз, когда мы выходили на нетоптанный луг, была опасность наткнуться на неразминированные участки. Благодаря случайности и Богу никто из бойцов пока не наступил на взрывающийся предмет, упрятанный в траве. Скотина вела себя в высшей степени нерационально: когда одна подрывалась, другие моментально задирали, вздыбливали хвосты, неслись в разные стороны, забивались в кусты, где как раз и подвергали себя наибольшей опасности. В кустах-то вообще никто мины не убирал. Особенно быки теряли разум. Настигать быка было мучительно сложно, а выгонять его из кустов ещё сложнее, бык норовил продрасть дальше в саму чащобу, и тебе надо туда же продираться. У тебя при этом одна мысль и одно ожидание: вот сейчас под ногами рванёт, сейчас рванёт.

Ощущение ледяного озноба в позвоночнике. Я глядел на рядового Ванюшина, он делался бледным, как бумажный лист, у него сестрёнка и братишка, ожидающие дома на далёком Чулыме.

Мысль, которая на войне приходит каждому бойцу (мысль эту каждый скрывает по-своему), что твое тело тебе не принадлежит и с ним придется расстаться, здесь вот преследовала неотступно.

Вот, значит, когда мы подбирали место для ночной пастьбы, появились они, эти самые танки на дороге. Они шли навстречу. Сумерки уже почти загустели, а танки шли на скорости со слепящими фарами.

Выскочили эти стальные мастодонты совсем неожиданно из-за увала.

Я стал махать руками, чтобы они свернули, но куда там! Танки прошли через стадо. Бедные наши скотинки, сминая друг друга, кинулись в кюветы, выстланные камнем. На Западе все кюветы выстланы камнем – культура, леший бы её побрал. Из-за этой культуры напуганные животные попереломали себе ноги.

Всю потом ночь нам пришлось слушать мучительно-надрывные стоны животных. Чтобы скотина не мучилась, Масенькин с рассветом ходил и дорезал ее ножом, весь сам сделался окровавленным. Мог бы для такого дела воспользоваться карабином. Масенькин же, деревенского рода, не мог стрелять в скотину. Хотя нас-то пугал, – «Пристрелю!» – когда кто-то не хотел бежать по его приказу в кусты, на явные мины.

Утром младший сержант, помывшись в ручье, побежал искать правды в танковую часть, которая стояла под лесом. Правды, конечно, не нашёл, однако принёс бумагу на прирезанную скотину. Танкисты пригнали грузовик и взамен на выданную квитанцию загрузили кузов ещё не остывшими тушами. Танкисты похохатывали, довольные: халява им подвалила – для общего довольствия мяса. И опять демонстрировали если не презрение к нам, краснопогонникам, то пренебрежение полное: тыловые крысы.

Это был не последний драматический случай. В результате мы вернулись в свою часть, растеряв чуть ли не всё стадо. Последние потери понесли уж перед самым «домом». Крупная тёлка напоролась брюхом на острую железяку, торчащую из разбитого, опрокинутого у дороги пушечного орудия. А пёстрый бык с крупной лобастой головой подорвался на mine уже в городской черте, возле разбитого литейного завода, у каких-то сараев, на газоне, куда он потянулся ухватить пучок травы. Мина оказалась противотанковой. Испустить бы тут дух заодно и моему напарнику Ванюшину, погнавшемуся за быком, но на счастье запнулся, упал и оказался за валяющейся бетонной балкой, оттого и уцелел. Спасительный момент. Значит, Всевышнему надо, чтобы рядовой Ванюшин для чего-то остался живым. Волной спрессованного воздуха зацепило и меня, я перестал слышать, и язык затвердел, как бы заклинился во рту. В общем, безрассудный поход получился.

По результатам всей нашей скотоперегонной такой операции младший сержант Масенькин был разжалован в ефрейторы. Никак не примирившись с таким своим унижением, наш командир надолго впал в угнетенное состояние, голову повесил, задумался. Он-то ведь был одержим мечтой дослужиться если не до офицерского звания, то хотя бы до старшинского, что, как он считал, позволило бы ему, то есть давало право не возвращаться в свой сибирский колхоз. Вот, говорю, впал в тяжелое угнетение. А прежде-то Масенькин и пошутить умел. Например, спрашивал перед строем:

– Рядовой Зябрев! Чтобы под трибунал не попасть, что в сортире не полагается делать?

– Махать пальцем, товарищ младший сержант!

– Правильно, – одобрял он с очень серьёзным лицом.

По подразделениям ходила байка про бойца, которому подтиркой служил палец и однажды этот боец, стряхивая, не рассчитал, да и угодил пальцем об остриё шанцевого инструмента, прикрепленного на боку, да и отсёк себе палец, который на коже повис. Судили беднягу трибуналом, как за сознательное членовредительство. Вот об этом Масенькин и любил напоминать своим подчинённым. Это всем надо знать, повторял он с тем же серьёзным видом, хотя все прыскали смехом.

Дальше мне бы рассказать, как его, такого вот психически оглушённого, демобилизуют и он вернётся в свой колхоз, деревня очень обрадуется, событие-то ведь великое, прежде с войны такие вот с целыми



руками и ногами не приходили, назначат люди его председателем, он в этой должности проработает с весны до осени, старательно поработает, распределит оголодавшим колхозникам на трудодни собранный урожай хлеба, нарушив тем самым государственную заповедь, за что подвергнется аресту и проведёт в зонах долго, долго. Но про это рассказывать у меня уже нет никакой охоты и сил тоже – это была бы уже отдельная повесть.

Подлые американские борзописцы на весь свет разнесли в заграничной прессе, как мы, советские краснопогонники, то есть, чекисты, отбирали скот у немецких фермеров – а мы вовсе не отбирали, бауэры сами нам отдавали, – и как мы гнали, мучая животных, что всю дорогу, весь долгий маршрут окропили кровью несчастных бурёнок. И многое ещё наговорили про нас. Чёрное пятно легло на весь батальон, и оттого осенью вся часть была в одну ночь поднята по тревоге, доставлена к поезду и передислоцирована с Западной Европы, где назрела масса разных фруктов вдоль всех дорог – ешь, не хочу, отведаться бы нам только – а нас на оголённый каменный Урал охранять предприятия стратегической промышленности. Наша рота как раз угодила на территорию химического цеха, состоящего из нескольких высоких металло-бетонных, задымленных, чёрных от сажи, корпусов, соединённых толстыми трубами и галереями, земля вокруг жёлтая, отравленная на три сажени в глубину. В окна и в дверь нашей наспех оборудованной казармы, размещённой между цеховыми корпусами, наносило газом жёлто-зелёного цвета, такой же окраски через пару месяцев сделались и лица солдат. Из-за нехватки личного состава постовую службу пришлось нести по усложнённой схеме: четыре часа – через четыре. Крайне изнурительная схема. В мирное время такая система запрещается. С нервными и психическими срывами, с язвой в кишках и кавернами в печени.

Наш долг – выстоять. Уберечь стратегический объект от возможных шпионов, диверсантов и террористов, засылаемых с Запада. Возможно, эти поганые шпионы и диверсанты существовали лишь в нашем воображении, кто ж знает, но это уж не столь существенно.

Впрочем, один террорист попался, его обнаружил рядовой Ванюшин, действовавший по уставу, и открыл огонь на поражение, когда тот оказался в бурьянах нейтральной полосы. Была ночь, дождливая морось, слякоть, часовой Ванюшин, подрёмывая на охранной вышке, опершись правым предплечьем на отомкнутый штык карабина (штык у часового на посту должен быть только отомкнутым), и когда поднял глаза, то сразу и увидел его, этого террориста, затаившегося в будыльях. Но, конечно, сразу же и взял Ванюшин его на мушку. И крикнул: «Ни с места!» Человек сделал движение, часовой, естественно, выстрелил.

За проявленную бдительность и оперативность действий Ванюшин был поощрён десятидневным (без учёта дороги) отпуском домой к себе в посёлок на таёжном Чулыме и ещё представлен к званию ефрейтора, хотя уже утром выяснилось, что то был слесарь, дежуривший на трубном

участке и выбежавший из помещения на воздух, чтобы справить нужду по тяжёлому. Но это уже не имело значения. Главное, что бдительность часовой проявил и не дрогнул.

Рабочие в цехе ходили в трауре, выла растрёпанная и помешанная вдова, но это уже их проблемы, а не нашей роты. Кстати, ротный тоже удостоился поощрения, ему досрочно повысили звание. Вдова попробовала хлопотать компенсацию за убитого отца своих детишек, оставшихся сиротами, раз или два приходила к нам в казарму, вернее, к порогу казармы, во внутрь казармы её, конечно, не пустили – не положено гражданским, – худая, желтоликая, в чиненном зипунке, потом ей где-то дали понять, что как бы хуже для семьи не вышло, ведь неизвестно, с какой целью и зачем её супругу в нейтральной полосе было оказаться, и женщина больше не приходила. Ванюшин же, вернувшись из отпуска, рассказывал, что в посёлке нету хлеба, но корова отелилась и было молоко, от которого он отвык и его полоскало на три метра. Посвежить лицом и сил набраться воин не успел, тем не менее, в роте все бойцы завидовали ему, надо же – дома побывал! Девчонок из клуба провожал, везунчик!

В условиях, где не могли водиться ни воробьи, ни насекомые, я продержался четыре года. Потом был списан – по чистой. Домой. Батальонный врач со знаменитой фамилией Гоголь, имевший круглую лысину на макушке, подписывая мой инвалидный документ, весело, почти по-дружески, доверительно сказал: «Потенциала нервишек ещё лет на двадцать хватит, не горюй, до сорока, в общем, проживёшь, гуляй!». До сорока?! – захлебнулся я такой далёкой перспективой. Это же так долго! Если тебе всего лишь двадцать три, то впереди не видать и конца, спасибо, доктор Гоголь. Получил я сухой паёк дорожный на пять суток: селёдку, сухари, китайскую тушёнку (американцы нас давно уже не кормили, а китайцы кормили). Убегал я с вещмешком на железнодорожный вокзал. Глаза щипало, но уже не от газа, а от прощания с сослуживцами, от радости. Мои товарищи-одногодки оставались в казарме ещё надолго.

Прощай, доблестная армия, сложная и счастливая пора моей жизни! Что-то впереди. ЧТО?

**Анатолий ЗЯБРЕВ**  
г. Красноярск

За месяц до Победы. Австрия, 1945. (Автор – слева)

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Часть I*

Бунт.....	3
Зона.....	19
Новые друзья.....	35
Лови ветра в поле.....	52
Прости нас, Игорь Самуилович.....	57
Покушение на мою девственность.....	60
Опять под колпаком.....	73
Федор Федорович – мой новый хозяин.....	79
Счастливая встреча.....	83

### *Часть II*

Мама, я служу в батальоне НКВД.....	90
А ночи тут черные, как сажа.....	96
Венгрия.....	101
«Мама», «Мама»... - кричал солдатик.....	104
Тайная сила.....	107
Вена.....	119
Фёдоров и другие.....	127
Гибель сержанта.....	136

